ОТРОЧЕСТВО
серия книг
для
подростков

Михаил
Шолохов

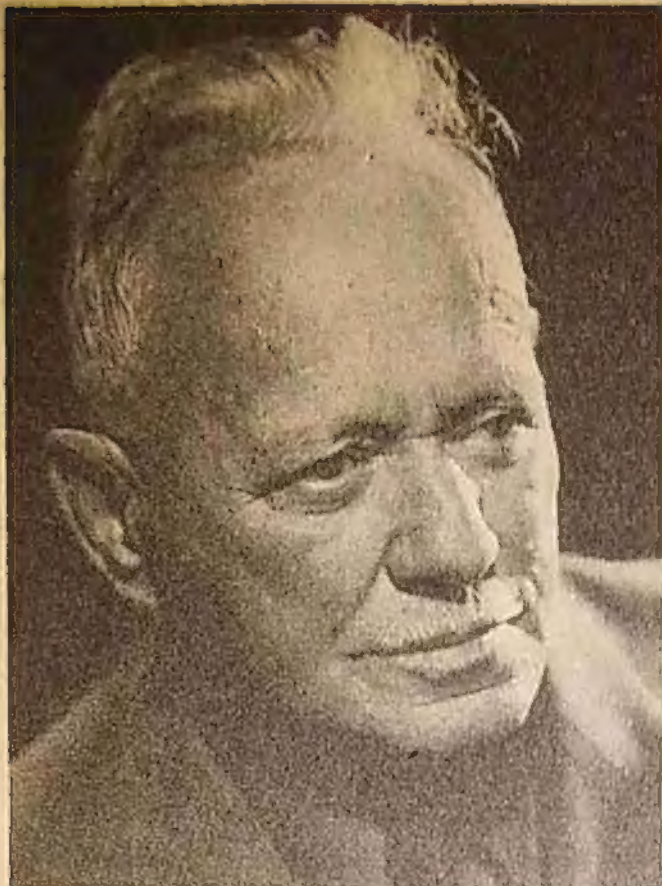
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы из романа

выпуск II

Главы из романа
«Они сражались за Родину»
Михаила Шолохова
посвящаются героическому
подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне.
Замечательные слова писателя
определяют содержание
этого произведения:
«И если любовь к Родине
хранится у нас в сердцах
и будет храниться до тех пор,
пока эти сердца бьются,
то ненависть к врагам
всегда мы носим
на кончиках штыков».

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1985



Михаил Шолохов

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы из романа

ВЫПУСК II

* * *

Последняя ли щепотка табаку, полученная от товарища в трудную минуту, ласковые ли нотки дружеского сочувствия, проскользнувшие в голосе Лопахина, а быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев, после того как Николая Стрельцова увезла в медсанбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным.

На заре, когда остатки полка влились в соединение, занявшее оборону на подступах к переправе, Звягинцев уже иначе, чем прежде, посматривал на ладившего запасную позицию Лопахина. Сам он, как всегда, кряхтя и ругая твердый грунт и горькую свою солдатскую жизнь, быстро отрыл окоп, а потом подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал:

— Давай пособлю, а то предбудущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться... — И, поплевав на руки, взялся за лопатку.

Лопахин с молчаливой признательностью принял услуги Звягинцева, но через несколько минут уже начальственно покрикивал на него, донимая непристойными шутками, и, похлопывая ладонью по горячей и мокрой от пота спине

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1985

нового приятеля, говорил:

— Рой глубже, богомолец Иван! Что ты по-стариковски все больше сверху елозишь. В земляной работе, как и в любви, надо достигать определенной глубины, а ты норовишь сверху копаться. Поверхностный ты человек, через это тебе жена и письма редко шлет, вспомнить тебя, черта рыжего, ничем добрым не может...

Сухой, жилистый Лопахин работал с профессиональной горняцкой сноровистостью и быстротой, почти не отдыхая, не тратя времени на перекурки. На смуглом лице его, с въевшейся в поры синеватой угольной пылью, слезинками блестели капельки пота, тонкие злые губы были плотно сжаты. Он ловко выворачивал лопаткой попадавшиеся в суглинке камни, а когда крупный камень не поддавался его усилиям, сквозь стиснутые зубы цедил такие фигурные, замысловатые ругательства, что даже Звягинцев — большой знаток по этой части — на минуту удивленно выпрямлялся, качал головой и, облизывая пересыхающие губы, укоризненно говорил:

— Господи боже мой, до чего же ты, Петя, сквернословить горазд! Да ты бы как-нибудь пореже ругался и не так уж заковыристо. Ругаешься-то не по-людски, будто по лестнице вверх идешь, — ждешь и не дождешься, когда ты на последнюю ступеньку ступишь...

Лопахин скупо обнажал в улыбке белые зубы и, блестя озорными светлыми глазами, говорил:

— Это, браток, кто кого привык чаще вспоминать. У тебя вон за каждым словом — «господи боже мой», у меня — другая поговорка. А потом ты ведь — деревенщина, на комбайне катался да чистым кислородом дышал, у тебя от физического труда нервы в порядке, с чего бы ты приучился ругаться? А я шахтер, до войны в забое по триста с лишним процентов суточной нормы выгонял. Триста процентов выполнить без ума, на одной грубой силе, не выполнишь, — стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну, и как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались, а потому иногда для собственного успокоения и ругнешься со звоном, как полагается. А ты, если твое благородное воспитание не позволяет выслушивать мои облегчительные слова, заткни уши хлопьями; артиллеристы в мирное время, чтобы не оглохнуть от стрельбы, так делали, говорят, помогало.

Приготовив запасную позицию, Лопахин вздумал соединить оба окопа ходом сообщения, но уставший Звягинцев решительно запротестовал:

— Ты что, зимовать тут собираешься? Не буду рыть.

— Зимовать не зимовать, а упереться здесь я должен, пока остальные не переправятся. Видал, сколько техники к переправе ночью шло? То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть моя не позволяет. Понятно? — с необычайной серьезностью сказал Лопахин.

— Да ты одурел, Петя! Когда же мы канаву в сорок метров отроем? Упирайся без канавы сколько хочешь, и на черта она тебе нужна? При нужде, когда приспичит, переползешь и так, переползешь, как миленький! Ну, что ты мне лопатку в зубы тычешь? Сказал, не буду рыть больше — и не буду. Что я тебе — сапер, что ли? Дураков нет силу зря класть. Хочешь — тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной, а я, шалишь, брат, не стану!

— А что же я, меняя позицию, по этой плешине должен ползти? — Лопахин величественным жестом указал на голую землю, едва покрытую чахлой травкой. — Меня первой же очередью, как гвоздь по самую шляпку, в землю вобьют, отбивную котлету из меня сделают. Вот

какая людская благодарность бывает: ты его грудью защищаешь от танков, а он лишний раз лопаткой ковырнуть ленится... Ступай к черту, без тебя выроем, только предупреждаю заранее: стану командиром, и представления к ордену тогда не жди от меня, как ты ни прыгай, как ни старайся отличиться, хоть живьем тогда кушай фрицев, а все равно ни шиша не получишь!

— Нашел чем напугать, — устало улыбаясь, сказал Звягинцев, но все же, хотя и с видимой неохотой, взялся за лопатку.

Пока он и второй номер расчета, Александр Копытовский — молодой, неповоротливый парень, с широким, как печной заслон, лицом и свисавшей из-под пилотки курчавой челкой, — очищали лопаты от прилипшей глины, Лопахин вылез из окопа, осмотрелся.

Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло, и там, где за дальними тополями виднелась белесая излучина Дона, низко над водою стлался туман, и прибрежный лес, до подножия окутанный туманом, казалось, омывается вскипающими струями, словно весною, в половодье.

Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицей здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом.

Лопахин долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до гребня находившейся впереди высотки, намечал ориентиры, а потом удовлетворенно сказал:

— До чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. Отсюда бить буду этих дейчпанцирей так, что только стружки будут лететь с танков, а с танкистов — мясо пополам с паленой шерстью.

— Нынче ты храбрый, — ехидно сказал Сашка Копытовский, выпрямляясь. — Храбрый ты стал и веселый, когда знаешь, что, кроме нашего ружья, тут их еще черт-те сколько, и противотанковые пушки есть, а вчера, когда пошли танки на нас, ты с лица сбледнел...

— Я всегда бледнею, когда они на меня идут, — просто признался Лопахин.

— А заорал-то на меня, ну натурально козлиным голосом: «Патроны готовь!» Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать. Тоже с дамскими нервами оказался...

Лопахин промолчал, прислушался. Откуда-то из-за сада донесся женский возглас и звон стеклянной посуды. Рассеянно блуждавший взгляд Лопахина вдруг ожил и прояснился, шея вытянулась, и сам он слегка наклонился вперед, напрягая слух, весь обратясь во внимание.

— На кого это ты собачью стойку делаешь, аль дичь причуял? — посмеиваясь, спросил Копытовский, но Лопахин не ответил.

Смоченная росой, тускло блестела красная черепичная крыша белого здания. Косые солнечные лучи золотили черепицу и радужно сияли в окнах. В просветах между деревьями Лопахин увидел две женские фигуры, и тотчас же у него созрело решение.

— Ты, Сашка, побудь на страже интересов родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение, — подмигнув, сказал он Копытовскому.

Тот удивленно поднял пепельно-серые запыленные брови, спросил:

— За какой нуждой?

— Предчувствие у меня такое, что если в этом доме не школа и не туберкулезный диспансер, то там можно добыть к завтраку что-нибудь привлекательное.

— Там, скорее всего, ветеринарная лечебница, — помолчав, сказал Копытовский. — Ясное дело, что там ветеринарная лечебница, и ты, кро-

ме овечьей коросты или чесотки, ничего там к завтраку не добудешь.

Лопахин презрительно сощурил глаза, спросил:

— Это почему же... лечебница, да еще ветеринарная? Приснилось тебе, ясновидец?

— Потому что на отшибе стоит, а потом там недавно корова какая-то мычала, да так жалобно, — наверное, лечить ее привели.

Несколько поколебленный в своем предположении, Лопахин с минуту разочарованно и меланхолически посвистывал, но в конце концов все же решил идти.

— Схожу на разведку, — бодро проговорил он. — А если старшина или кто другой спросит, где Лопахин, — скажи, что пошел до ветру, скажи, что ужасные схватки у него в животе и, может быть, даже дизентерия.

Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую рожу, Лопахин околесил окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших с командного пункта провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул набекрень каску и, вразвалку ступая кривыми ногами, направился к гостеприимно распахнутой двери здания.

Еще издали он увидел суетившихся возле сарая женщин, ряды отсвечивавших на солнце белых бидонов и пришел к решительному убеждению, что перед ним либо маслозавод, либо молочнотоварная ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда, ловко прыгнув через плетень, он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика, что-то приказывавшего женщинам. Промышляя, Лопахин всегда предпочитал иметь дело с женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского сердца, несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил и в собственную неотразимость... Что касается стариков, то их он попросту недолюбливал, всех без исключения почему-то считал скаредами и всячески избегал обращаться к ним с какими-либо просьбами. Но сейчас миновать старика было просто невозможно: судя по всему именно, он и был здесь старшим.

Скрепя сердце и мысленно пожелав ни в чем не повинному старику скорой и благополучной кончины, Лопахин направился к сараю, но уже не прежней игривой и развязной походкой завзятого покорителя женских сердец, а строгим строевым шагом, предварительно поправив на голове каску и погасив в глазах веселые огоньки.

Бегло взглянув на прямые плечи и несутулую спину старика, Лопахин подумал: «Наверно, фельдфебелем служил, бородатый дьявол! Почтительностью его надо брать, не иначе». Не доходя нескольких шагов, он щелкнул каблуками, поздоровался и откозырнул так, словно перед ним стоял по меньшей мере командир дивизии. Расчет оказался безошибочным: на старика это явно произвело впечатление, и он, тоже приложив узловатую ладонь к козырьку выцветшей казачьей фуражки, не менее почтительно ответил гулким басом:

— Здравия желаю!

— Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня? — спросил Лопахин, с наивным видом указывая на коровник.

— Нет, это наша МТФ. Собираемся вот в отступ...

— Поздно вы собрались, — строго сказал Лопахин. — Надо было пораньше об этом думать.

Старик вздохнул, погладил бороду и, глядя куда-то мимо Лопахина, сказал:

— Больно скоро вы, лихие вояки, добежали до нашего хутора... Позавчера радио передавало, будто бои идут возле Россоши, а не успели мы оглянуться, — вы уже возле наших

базов и германца небось следом за собой волокете...

Разговор начал принимать явно нежелательное для Лопахина направление, и он искусно направил его по новому руслу, озабоченно спросив:

— Неужто коров еще не переправили за Дон? Коровы, наверно, хорошие у вас, породистые?

— Коровки подходящие в нашем хозяйстве, не коровки, а золото! — с восторгом отозвался старик. — Их-то мы вплавь переправили еще вчера вечером, а вот имущество пока перевозим и перевезем, нет ли — не скажу, потому что на переправе такое столпотворение идет, что не дай и не приведи бог! Немец на мост вторые сутки бомбы кидает, рушит его, когда попадет, а тут военных машин всяких набилось тыщи, возле моста командиры один одного за грудки тягают, где уж нам со своей хурдой переправиться...

— Да, это дело сложное, — подтвердил Лопахин. — Но вы особенно не волнуйтесь, дорогой папаша, наш геройский полк взялся держать оборону, значит, можете быть уверенные, что с ходу немцы на ту сторону Дона не перескочат. Мы им еще на этой стороне кровишки как следует пустим.

— Пропадет наш хутор, все огнем возьмется, если бой тут будет идти, — дрогнувшим голосом сказал старик.

— Да, папаша, хутору вашему, как видно, достанется, но мы будем оборонять его до последней возможности.

— Помоги вам бог, — истово сказал старик и хотел было перекреститься, но, искоса взглянув на Лопахина, на украшенную медалью грудь его, не донес руку до лба и стал степенно гладить седую окладистую бороду. — Стало быть, это ваша часть за садом окопы роет? — помолчав, спросил он.

— Так точно, папаша, наша. Роем, стараемся вовсю, а тут во рту все пересохло... — Лопахин дипломатически замолчал, но старик, видимо, не понял намека. Он все гладил бороду, смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив глаза, зычно крикнул:

— Глашка, язвить твою душу, почему до сих пор кобылы нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь.

Полная, статная доярка, с малиновыми губами и пышной грудью метнула в сторону Лопахина короткий взгляд, что-то шепнула женщинам — и те тихо засмеялись, — а потом уже не спеша отозвалась:

— Скоро приведут, Лука Михалыч, не беспокойся, успеешь до Дона свою старуху домчать...

Лопахин, не отрываясь, зачарованно смотрел на доярку и жмурился, будто от яркого солнца. С заметным усилием он отвел глаза от смугло-румяного женского лица, вздохнул и почему-то вдруг осипшим голосом спросил:

— А что, папаша, хорошо жил колхоз до войны? Упитанность у вашего народа приличная...

— Жил преотлично: и школа, и больница, и клуб, и все прочее было, не говоря уже про харч, всего было в аккурат по ноздри, а теперь все это свое природное приходится покидать. К чему вернемся? К горелым пенькам, это уж как бог свят, — сокрушенно произнес старик.

В другое время Лопахин, может быть, и посочувствовал бы чужому горю, но сейчас у него не было лишнего времени, и он предпринял еще один шаг, чтобы натолкнуть старика на догадку о цели своего прихода.

— Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годная. Как же вы хорошей воды не имеете? — с упреком сказал он.

— Солоноватая? — удивленно переспросил старик. — Да вы в каком же колодезе брали?

Лопахин не пил в этом хуторе

воды и, разумеется, не знал, где находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону видневшейся за деревьями школы. Старик удивился еще больше:

— Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в округе, на питье весь хутор там воду берет. С чего же это она могла нынче сгубиться? Вчера оттуда воду приносили, легкая вода, хорошая была, сам пробовал.

Он уставился в землю, размышляя, а Лопахин с досадой крякнул, сказал:

— Нам, к тому же, сырую воду не разрешают пить, папаша, во избежание поносов и других желудочных происшествий.

— Нашу воду можно и сырую пить, — упрямо сказал старик. — Каждый год колодезь чистим, весь хутор пьет, и сроду никто животом не хворал.

Лопахин исчерпал все возможности деликатно надоумить непонятливого старика и, отчаявшись, пошел напролом:

— Молочка пресного нельзя ли у вас добыть или хотя бы масла сливочного?

— А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей МТФ. Вот она стоит возле доярок, конопатенькая такая, кругленькая, в серой шальке.

— А вы... кто же вы будете по чину? — растерянно спросил Лопахин.

И старик, разглаживая бороду, с гордостью ответил:

— Я тут конюхом работаю вот уже третий год. Работаю — дай бог всякому: и покос за мной, и присмотр за худобой, и по хозяйству все как есть лажу. Премию нонешний год мне сулили...

Он еще что-то говорил, но Лопахин с досадой шлепнул себя ладонью по каске и, беззвучно шевеля губами, пошел к женщине, покрытой серой шалью.

Заведующая оказалась простой и покладистой женщиной. Она внимательно выслушала просьбу Лопахина, сказала:

— Мы на госпиталь раненым отпустили полтораста литров молока и масла, кое-что еще осталось, с собой нам его не везти. Два бидона молока вашим бойцам хватит? Глаша, отпусти товарищу командиру молока два бидона, вчерашнего вечорошника, и, если осталось в леднике сливочное масло, — тоже дай килограмма два-три.

Довольный и весьма польщенный тем, что его приняли за командира, Лопахин с жаром пожал руку доброй заведующей, проворно спустился в ледник. Принимая из рук доярки холодные, отпотевшие на льду бидоны, он восхищенно сказал:

— Не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина! Просто взбитые сливки, да и только! На мой аппетит — вас целиком можно за один присест скушать: намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли...

— Уж какая есть, — сурово ответила неприступная доярка.

— Нечего скромничать, определенно хороша Глаша, да не наша, вот в чем вся беда! И с чего это вас так разнесло, неужели с парного молока или с простокваши? — продолжал восхищаться Лопахин.

— Бери бидоны, пойдем. За маслом потом придешь.

— Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть, — убежденно сказал Лопахин.

Воровато оглянувшись на полуоткрытую дверь, он попытался обнять пышнотелую доярку, но та легко отвела руку Лопахина, показала ему большой смуглый кулак и дружелюбно улыбнулась:

— Гляди, парень, от этого скорее, чем от льда, остынешь. Я строгая вдова и глупостей этих не люблю.

— От такой вдовы согласен нести любой урон, но отступать не намерен, и без этого наотступался до тошноты, — смиренно сказал Лопахин и упрямо потянулся к доярке, к ее

смеющимся малиновым губам.

Но в этот момент обитая камышом дверь ледника широко и некстати распахнулась, в просвете возникла темная фигура, и зычный стариковский бас зарокотал:

— Гликерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей, и чтобы кобылу привела мне в два счета!

Лопахин отпрянул в сторону, чертыхаясь вполголоса, гремя бидонами, стал подниматься по скользким от сырости ступенькам. Уже на выходе из ледника он подождал следовавшую за ним все еще лукаво улыбавшуюся доярку, спросил:

— За Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай.

— Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами?

— Пока не по пути, — значительно суше сказал Лопахин, но тотчас же хрипловатый голос его снова обрел воркующую, голубиную мягкость: — А если придется, — где мы, Глашенька, встретимся?

Смеясь и отталкивая Лопахина от двери крутым плечом, доярка ответила:

— Вроде бы и не к чему нам встречаться, но уж если так захочешь повидать, что будет невтерпеж, — в лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от своего хутора не пойдем.

Вздыхая и кляня в душе непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Он оглянулся и едва не упал, зацепившись ногою за кочку, и сейчас же вослед ему полетел и проник до самого сердца заливистый женский смех...

В окопе Лопахин, не отрываясь, долго пил прямо через край бидона холодную жизнетворящую влагу, а потом, отяжелевший от выпитого молока и по-детски счастливый, поручил Копытовскому распределить молоко среди бойцов роты по котелку на брата и строго наказал не обижать остальных, если останутся излишки. Сам он снова собрался идти,

но Копытовский посоветовал не ходить:

— Старшина будет ругаться, не ходи.

Лопахин мечтательно улыбнулся, сказал:

— Я, может быть, и не пошел бы, но ноги сами меня несут... Там есть одна такая доярка, Глаша, что, если бы не война, — я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.

Прищурив глаза, закрывая черной ладонью рот, Копытовский спросил прерывающимся от смеха голосом:

— За чьи дойки-то?

— Это неважно, — о чем-то задумавшись, рассеянно ответил Лопахин.

Взгляд его скользил по зеленым купам деревьев и надолго останавливался на красной черепичной крыше МТФ.

— Смотри, как бы от старшины тебе нынче не досталось. Он что-то со вчерашнего дня злой, как цепная собака, — предупредил Копытовский.

Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал:

— Иди ты со своими советами и вместе со старшиной! Что он мне шагу не дает ступить? Скажи, что Лопахин пошел за маслом, молоком его угости, вот и весь разговор. А если он ко мне попробует привязаться, — я ему отпою панихиду! Я Лисиченкину кашу не могу больше есть, у меня от нее язва желудка начинается. Пусть дают полностью по микояновскому уставу положенный паек, тогда я и ловчить не буду. Что я, психой, чтобы от сливочного масла отказаться, если добрые люди сами его предлагают? Не противнику же его оставлять?

— Ну, если масло дают, — нечего дремать, иди, — торопливо согласился Копытовский.

Минуту спустя Лопахин уже шагал по знакомой тропинке в саду, прислушивался к утренним голосам птиц и с наслаждением вдыхал пресный и нестойкий запах смоченной росой травы.

Несмотря на то что в течение нескольких суток подряд он почти не спал, недоедал и с боями проделал утомительный марш в двести с лишним километров, у него в это утро было прекрасное настроение. Много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому письмишко, не спеша покурить с приятелем — вот и готова скороспелая солдатская радость. Правда, письма Лопахин в это утро не получил, но зато ночью им выдали долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное количество боеприпасов; перед рассветом ему удалось малость соснуть, а потом он, посвежевший и бодрый, рыл окопы, уверенно думал о том, что здесь, у Дона, наконец-то закончится это горькое отступление, и работа на этот раз вовсе не показалась ему такой надоедливо-постылой, как бывало прежде; выбранной позицией он остался очень доволен, но еще больше доволен был тем, что вволю попил молока и повстречался с диковинной по красоте вдовой Глашей. Черт возьми, было бы конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-нибудь на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной, но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут. А за время войны он привык и довольствоваться малым и мириться со всякими утратами...

* * *

Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Лопахин шел по тропинке, расталкивая ногами отягощенные росою поникшие листья лопухов, и вначале не обратил внимания на еле слышный низкий, осадистый гул, донесшийся откуда-

то из-за горы, но вскоре гул стал отчетливее, и Лопахин остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут немецкие самолеты, и почти тотчас же услышал протяжный возглас: «Во-о-оз-дух!»

Лопахин круто повернулся, трусцой побежал к окопам. Только на секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылось мое маслице, и Глаша тоже...», — а потом, как ни чувствительна была эта двойная утрата, он надолго позабыл о ней...

Четырнадцать немецких самолетов, возникнув чуть выше кромки горизонта, стремительно приближались. Лопахин еще не успел добежать до своего окопа, как из школьного сада звонко ударили зенитки. Темно-серые венчики разрывов вспыхнули чуть впереди и ниже первых самолетов. Затем разрывы зенитных снарядов стали умножаться и, перемещаясь в безоблачном небе, поплыли рядом с самолетами, раскалывая их строй, заставляя менять направление.

— Один готов! — в восторге рявкнул Сашка Копытовский.

Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову, увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. С буревым свистом и воем, окутанный дымом и пламенем, пронесся он над линией окопов и взорвался на собственных бомбах, ударившись об утрамбованную землю хуторского выгона. Грохот взрыва был так силен, что Лопахин на миг закрыл глаза. А потом повернул к Сашке сияющее лицо, сказал:

— Ну и серьезная же начинка у него... Если бы эти поднебесные черти, зенитчики, всегда так стреляли!

Еще один самолет, от прямого попадания снаряда разваливаясь в воздухе на куски, упал уже далеко за хутором. Остальные успели прорваться к переправе. Встреченные огнем пулеметов и второй зенитной батареи, расположенной у самой переправы, они беспорядочно сбросили бомбы, потянули прямо на запад, обходя опасную зону.

Не успела улечься поднятая фугасками пыль, как из-за горы появилась вторая волна немецких бомбардировщиков, на этот раз уже числом около тридцати машин. Четыре самолета отделились, повернули к линии обороны.

— На нас идут, — сквозь стиснутые зубы проговорил дрогнувшим голосом Сашка. — Гляди, Лопахин, это пикировщики, сейчас начнут падать... Вот они, пошли!

Слегка побледневший Лопахин, выставив ружье и крепко упираясь ногой в нижний уступ окопа, тщательно целился. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только крохотные, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям обтянутых черной кожей глазниц.

— На три корпуса... на три с половиной... на четыре бери вперед! — сквозь режущее уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка.

Лопахин, как сквозь сон, слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощекова, на высокой ноте прокричавшего привычное: «По самолетам против-ника!..» Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом весомый толчок отдачи, в какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженной согнутой спине Лопахина, как крупный град, с силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли, в ноздри вторгнулся и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов, в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял

голову, сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся пыли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его и разогнулся словно пружина, в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью.

— Бей же его, стерву! Бей скорее!.. — лихорадочно дрожа, кричал на ухо Сашка.

Нет, на этот раз Лопахин не мог, не имел права промахнуться! Он весь как бы окаменел, только руки его, железной крепости руки забойщика, слившись воедино с ружьем, двигались влево, да прищуренные глаза, налитые кровью и полыхавшие ненавистью, скользили впереди тянувшего ввысь самолета, беря нужное упреждение. И все же он промахнулся и на этот раз... Губы его мелко задрожали, когда он увидел, как самолет, набрав нужную высоту и с ревом развернувшись, снова стал пикировать на окопы.

— Патрон! — клокочущим голосом крикнул он.

«Ю-87» резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем изо всех своих пулеметов. Навстречу ему, яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова, часто щелкали винтовочные выстрелы, дробно и глухо, сливаясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем, и в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки огня: и обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов из противотанковых ружей. Очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком.

— Что ты застыл?! Что застыл спрашиваю? Ты не раненый?! — кричал Сашка.

Но Лопахин, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и страшно выругался, и Сашка присел на шероховатое, усыпанное комками земли дно окопа, убедившись в том, что Лопахин жив и невредим.

На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок, краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся.

— Нагнись! Прошьет он тебя, шалавый! — громко выкрикнул Сашка.

— Врешь, не успеет! — прохрипел Лопахин и, выждав момент, когда самолет только что выровнялся на выходе из пике, нажал спусковой крючок.

Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок.

— Ага, долетался, так твою и разэтак! — тихо сказал Лопахин, поднимаясь в окопе во весь рост. — Долетался! — еще тише и значимей повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета.

Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно рухнул вниз. Он ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо, и только тогда Лопахин с огромным и радостным облегчением вздохнул, вздохнул всей грудью, повернулся лицом к Сашке.

— Вот как надо их бить! — сказал он, раздувая побелевшие ноздри, уже не скрывая своего торжества.

— Ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотович! — восторженно проговорил Сашка, чуть ли не впервые за все время совместной службы величая Лопахина по отчеству.

Лопахин трясущимися руками торопливо свернул папироску, усталый и какой-то обмякший, сел на

що окопа, несколько раз подряд жадно затянулся.

— Думал, что уйдет проклятый! — сказал он уже спокойнее, но от волнения все еще замедляя речь. — Завалил бы за бугор, ну а там черт его знает — то ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это — дело надежное: стукнулся о землю, и гори на доброе здоровье...

Не докурив папиросы, он поднялся и с минуту удовлетворенно, молча смотрел на чадившие вдали обломки сбитого самолета. Остальные три самолета, бомбившие зенитную батарею, уходили на юг, но над переправой все еще кружили хищно бомбардировщики, немо хлопали зенитки, рвались бомбы и высоко вздымались радужно отсвечивавшие на солнце бледно-зеленые столбы воды. Вскоре налет окончился, и прибежавший связной позвал Лопахина к командиру роты.

Все поле впереди и сзади окопов было, словно язвами, покрыто желтыми, круглыми, различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, проделанные в саду бомбами и загроможденными и расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов, и все вокруг выглядело теперь необычно: ново, дико и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка, у самого бруствера лежало до половины засыпанное землей; погнутое и отсвечивающее рваными металлическими краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий махорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой, полуразрушенной силосной яме, доносился чей-то подрагивавший веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся, подумал: «Вот чертов народ, какой неистребимый! Бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло, — они и ржут, как стоялые жеребцы...» И сейчас же сам невольно засмеялся, потому что знакомый голос сержанта Никифорова, высокий, плачущий от смеха, закончил:

— ...гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: «Федя, меня не убили?..» А глаза у него, ну прямо по кулаку, на лоб вылезли, и пареной репой от него пахнет... Он со страху-то, видно, того...

Кто-то там, в просторном окопе, смеялся устало и тонко, из последних сил, но безостановочно, словно его, связанного, усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков и, обходя воронки, догоняя связного, сказал:

— Веселый парень этот Никифоров.

— Сейчас кому смех, кому слезы, а кому и вечная память... — мрачно ответил связной, указывая на разрушенную прямым попаданием ячейку и на красноармейца в залитой кровью гимнастерке, который шел вдали, пьяно покачиваясь, безвольно опираясь на руку санитара.

Лейтенант Голощеков встретил Лопахина широкой улыбкой, движением руки пригласил спуститься в окоп. Пользуясь коротким затишьем, он только что наспех позавтракал. Голощеков вытер черным от грязи носовым платком рот, лукаво подмигнул:

— Ты его снизил, Лопахин?

— Будто бы я, товарищ лейтенант.

— Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?

— Первый.

— Ну, присаживайся, гостем будешь. Так, говоришь, первый, но надо думать, не последний? — пошутил лейтенант, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу.

В окопе лейтенанта пахло не

только не успевшей подсохнуть влажной глиной и полынью, но и ременной кожей амуниции, чуть-чуть одеколоном, уксуснотерпким мужским потом и махоркой. Лопахин подумал о том, с какой удивительной быстротой обживают люди окопы, населяя временное жилье своими запахами, совершенно разными и присущими только каждому отдельному человеку. Он некстати вспомнил слова сержанта Никифорова и улыбнулся, но лейтенант истолковал его улыбку по-своему и, наливая в алюминиевый стаканчик водку, сдержанно сказал:

— Это соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим, своей у меня давно уже не было... Что же, поздравляю с удачей, бери, выпей.

Лопахин двумя пальцами бережно принял стаканчик, сказал спасибо, но про себя с огорчением подумал, что посуда уж больно не по-русски мелка, и, закрыв глаза, медленно, с чувством выпил теплую, пахнущую керосином водку.

Лейтенант крякнул одновременно с Лопахиным, как бы вместе с ним разделяя удовольствие, но сам пить не стал, убрал фляжку.

— А народец-то стал каков у нас, Лопахин, а? Раньше, бывало, как только самолеты, — все вповалку лежат и землю нюхают, а сейчас уже не то: сейчас ходи над нами на приличной высоте, а то ноги переломаем, а? Так ведь, Лопахин?

— Точно, товарищ лейтенант.

— Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал, да и сам я видел. Наверно, будешь представлен к награде. Ну, ступай, скоро надо ждать наступления, смотри не подкачай насчет танков. Зайди к Борзых, предупреди от моего имени: бой будет серьезный, стоять надо, как говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на правый фланг. Да, что-то немцы усердствуют с налетами, дорогу к переправе себе расчищают... Жаркий будет денек, так что смотри в оба!

Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья и выпитой водки, но, подходя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел.

Борзых завтракал, старательно вычищая хлебной коркой стенки консервной банки.

Лопахин прилег возле окопа, спросил:

— Ну, как, сибирский житель, тебя и бомбы не берут?

— Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет, — басовито ответил широкоплечий и ладный сибиряк, не прерывая своего занятия.

— Что ж, угостил бы шанежками, что ли, в гости ведь к тебе пришел.

— Сходи в гости к моей жене в Омск, сегодня воскресенье, она обязательно готовит шанежки, она и угостит.

Лопахин отрицательно и грустно покачал головой.

— Далековато, не пойду, прах с ними, и с шанежками с твоими...

— Да, далеконько, однако, — со вздохом сказал Борзых, и нельзя было понять, к чему относится этот легкий вздох: то ли к тому, что далеко от этой голой донской степи до родного Омска, то ли к тому, что так скоро опустела консервная банка...

Не размахиваясь, Борзых швырнул в бурьян пустую банку, тщательно вытер руки о замасленные штаны, сказал:

— Лучше ты меня, Лопахин, табачком угости.

— А свой-то неужели весь пожег? — удивился Лопахин.

— Зачем «пожег»? Чужой завсегда вкуснее, — рассудительно сказал Борзых и, свернув корытцем кусок бумаги, протянул руку из окопа. — Сыпь, не скупись. Если бы мне по-

фартило сбить самолет, — я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям...

Когда в молчании глотнули раза по два терпкого махорочного дымка, Лопахин сказал:

— Лейтенант приказал тебе передать, чтобы глядел в оба. Он с умом парень и думает, что танки на нас будут сначала силу пробовать. За этими высотками, какие против нас, им хорошо сосредотачиваться, к тому же там и подход им хороший, скрытный, балочка с бугра наискось идет, видал ты ее?

Борзых молча кивнул головой.

— Лейтенант так и сказал: «Я, — говорит, — на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего».

— Правильно делает, что надеется, — сдержанно сказал Борзых.— Народу нас мало осталось, но ребята все такие, однако, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как соседи?

— Соседи пусть сами о себе беспокоятся, — сказал Лопахин.

И Борзых снова молча кивнул головой.

Лопахин поднялся, пожал широкую, негнущуюся руку товарища, сказал:

— Желаю удачи, Аким!

— Взаимно и тебе.

Миновав две стрелковые ячейки и поравнявшись с третьей, Лопахин, словно перед неожиданным препятствием, вдруг ошалело остановился, протер глаза, сквозь зубы негодующе сказал: «Миленькое дельце! Этого мне еще недоставало на старости лет...» Из окопа, отрытого по-настоящему и с очевидным знанием дела, из-под низко надвинутой каски, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные, холодные голубые глаза повара Лисиченко. Полное лицо повара с налитыми, как антоновские яблоки, щеками выглядело необычно моложаво, даже весело, а голубые глаза спокойно и, как показалось Лопахину, вызывающе и бесстыже щурились.

Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал шипящим и ничего доброго не предвещающим голосом:

— Здравствуйте.

— Наше вам, — холодно ответил Лисиченко.

— Как ваше здоровье? — любезно осведомился Лопахин, испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться наружу бешенство.

— Благодарю вас, топайте дальше, к чертовой матери.

— Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова, — выпрямляясь, сказал Лопахин. — Ты мне ответь на один-единственный вопрос: какой дурак посадил тебя в эту ямку, и что ты думаешь высидеть в этой ямке, и где кухня, и что мы сегодня будем жрать по твоей милости?

— Никто меня сюда не сажал, приятель. Сам отрыл себе окопчик, сам и разместился тут, — спокойным и скучающим голосом ответил Лисиченко.

Лопахин чуть не задохнулся от охватившего его негодования.

— Разместился? Ах, ты... А кухня?

— А кухню я бросил. А ты тут не ахай, пожалуйста, и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня стало грустно, потому и бросил ее.

— Загрустил, бросил и по своей доброй воле пришел сюда?

— Точно. Что тебя еще интересует, герой?

— Ты что же, думаешь, что без тебя оборону не удержим? — скороговоркой спросил Лопахин, пронизывая Лисиченко все тем же немигающим и ненавидящим взглядом.

Но не так то просто было запугать или даже смутить бывалого и

видавшего всяческие виды повара. Спокойно глядя на Лопахина снизу вверх, он сказал:

— Вот именно, попал в самую точку, не понадеялся я на тебя, Лопахин, подумал, что дрогнешь в тяжелую минуту, потому и пришел.

— Почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак, видел я, на голове чистый-пречистый... Почему не надел-то? — задыхаясь, спросил Лопахин.

— Ну, так у генеральского, а я для чего же его надел бы? — ожидая подвоха, нерешительно спросил Лисиченко.

Лопахин не выдержал и с наслаждением, со вкусом сказал:

— Надо бы тебе его надеть, чтобы скорее тебя, толстого индюка, тут убили!

Но Лисиченко только рукой махнул и все так же невозмутимо ответил:

— Меня убьют тогда, когда на твоей могиле, Петя, чертополох вырастет, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше.

Говорить с поваром было бесполезно. Он был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот, а потому Лопахин, передохнув, тихо и неуверенно сказал:

— Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым так, чтобы из тебя все пшено высыпалось, но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне раньше скажи — и без всяких твоих штучек, — что мы нынче жрать будем?

— Щи.

— Как?

— Щи со свежей бараниной и с молодой капустой.

Лопахин проигрывал игру: над ним явно издевались, а он не находил таких увесистых слов, чтобы достойно ответить.

Снова присел он на корточки возле окопа, призвал на помощь все свое самообладание, проникновенно заговорил:

— Лисиченко, я сейчас перед боем очень нервный, и шутки твои мне надоели, говори толком: народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебе не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда получится и какого цвета будет у тебя после этого лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть? Ты — бог войны! Не артиллерия — бог войны, это про нее зря так говорят, а ты самый настоящий бог, потому что главное и в наступлении и в обороне — это харч, и всякий род войск без харча — все равно, что ноль без палочки. Чего же ты тут околачиваешься? Иди, милый, отсюда поскорее, пока тебя за ноги не выволокли, иди, маскируйся как следует и, пока все тихо в окрестностях войны, с малым дымом вари кашу. Черт с ней, согласен даже кашу твою есть: без нее хуже, чем с ней. Кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди, даю честное слово! Я, например, без хлеба становлюсь несчастней самого последнего итальянца, хуже самого несчастного румына. И прицел у меня становится не тот, и какая-то слабость в ногах и в руках дрожь появляется... Иди, Лисиченко, и будь спокоен, управимся тут и без тебя. Клянусь тебе, что твоя должность такая же почетная, как и моя. Ну, может быть, на какую-нибудь десятую долю только пониже...

Лопахин ждал ответа, а Лисиченко медленно достал из кармана розовый, расшитый немыслимыми цветами кисет, медленно оторвал от газетного листа косую и длинную полоску и еще медленнее стал вертеть «козью ножку». Только начинив цигарку табаком и добыв из трофейной зажигалки огня, он не спеша сказал:

— Напрасно ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине Дон переплыть я не могу — она же меня сразу утопит, переправить ее по мосту тоже невозможно. Подорву

я ее гранатой, когда надо будет, а сейчас пока в котле щи наваристые готовятся. Верно говорю. Что ты на меня глаза лупишь? Убери их немножко или придержи руками, а то они у тебя наземь упадут. Видишь, какое дело: возле моста бомбой овец несколько штук побило, ну я, конечно, одного валушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка издохнуть, капусты на огороде добыл, воровски добыл, прямо скажу. Ну и поручил двум легкораненым за щами присматривать, заправку сделал и ушел; так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, поддержу вас, а придет время обедать — уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена. Ты доволен мною, герой?

Растроганный Лопахин хотел было обнять повара, но тот, улыбаясь, присел на дно окопа, сказал:

— Ты вместо этих собачьих нежностей одну гранатку мне дай — может, сгодится на дело.

— Дорогой мой тезка! Драгоценный ты человек! Воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю! — торжественно сказал Лопахин, отцепляя с ремня ручную гранату и с почтительным поклоном вручая ее повару.

Лопахин, наверное, еще попустословил бы с поваром, но снова послышался приближающийся гул самолетов, и он поспешно направился к своему окопу.

И на этот раз на подходе к цели самолеты разделились: часть их ударила по линии обороны, остальные, прорываясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе.

И снова густое облако бурой пыли, словно туманом, заволокло окопы, высоко поднялось в безветренном воздухе, закрыло солнце. Сквозь гул разрывов, воющий свист осколков и глухой обвальный шум падающей сверху земли Лопахин тщетно пытался услышать выстрелы своих зениток. Находившаяся в школьном саду батарея молчала, и Лопахин с горечью подумал: «Накрыли, гады!» Потом на ум ему пришла мысль, что батарея, может быть, успела скочевать со старых позиций, и он несколько успокоился.

В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, он почти не различал выкриков Сашки. Оглушенный и подавленный свирепствовавшим над землею ураганом взрывов, он все же находил в себе силы и, отрываясь от стенки окопа, часто, но осторожно высовывался над бруствером. Горячие толчки взрывных волн откидывали его голову, но он пытливо смотрел сквозь пелену пыли вперед, стараясь рассмотреть, не идут ли вражеские танки, прикрываясь бомбежкой с воздуха.

В одно из таких мгновений в прорезанной пламенем взрывов и застилавшей солнце темноте он случайно взглянул туда, где был окоп Звягинцева, и с облегчением и радостью увидел, как после очередного выстрела чуть вздрагивает поднятое вверх дуло винтовки, а потом на секунду увидел и шевельнувшуюся каску Звягинцева со знакомой вмятиной на боку, густо запорошенную пылью и теперь уже окончательно утратившую тусклый глянец защитной краски.

«Просто молодец парень! — с восторгом подумал Лопахин. — Этого не запугаешь никакой музыкой...»

Опасения Лопахина вскоре оправдались: не успели самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов, но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за высоты открыла огонь артиллерия немцев, и наши батареи, на той стороне Дона, в лесу, дружно ответили.

— Ну, Сашка, подтяни штаны и держись! — ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин. — Да поглядывай,

чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо: главное в нашей вредной профессии — это чтобы настрой не падал.

Он приник к ружью и снова, как и в тот момент, когда вражеский самолет пикировал на окопы, словно бы слился со своим нескладно длинным ружьем, не отводя глаз от задернутых теперь уже поредевшей пеленою пыли стальных гремящих коробок, которые шли с бугра, построившись уступом и образуя как бы тупой клин.

Нет, теперь-то можно было дышать полной грудью! Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего четыре противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и на половину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из двадцати средних танков, вывернувшихся из-за бугра, три застыли на месте, а четвертый не успел пройти и десятка метров, волоча за собою черный шлейф дыма, как следующий снаряд взвернул у правого борта его лохматый столб земли, и танк легко и послушно накренился, словно пытаясь зачерпнуть краем развороченной башни этой благодатной, черноземной донской земли, которую несколько минут назад он так горделиво попирал гусеницами...

В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин, будто плоскогубцами, сдавил пальцами плечо Сашки, воскликнул:

— Стреляют-то... стреляют-то как! Ах, мамины дети, кто их только учил? Я б того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь этак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!

С левого фланга, из небольшого садика, стала бить по танкам и батарея ПТО. За несколько минут было подбито еще два танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее как в двухстах метрах.

Лопахин отчетливо видел темно-серый приземистый корпус танка, шедшего немного наискось, видел и смутные очертания какого-то причудливого, хвостатого зверя, намалеванного белой краской на борту танка, чуть левее креста. Всё видели его воспаленные и слезившиеся глаза, но он ждал, когда расстояние сократится хотя бы еще на полсотню метров, чтобы бить наверняка.

Из-под гусениц танка выпархивала, низко над землей, над мелким степным полынком стлалась серая пыль. Иногда на солнце вдруг вспыхивал отполированный трак гусеницы, и опять, словно хлопья волочащейся за танком серой ваты, клубилась пыль, а поверх нее было видно, как медленно вращается башня, из дула пушки раздвоенным змеиным жалом на короткий миг вдруг высовывается и исчезает бледный и острый огонек, почти невидимый в лучах яркого утреннего солнца, а затем на правом фланге роты впереди и сзади желтых холмиков окопов вспухает черный, медленно оседающий гриб поднятой взрывом земли и слышится характерно звонкий, лопающийся звук разрыва.

Со второго патрона Лопахин подбил танк. Почти одновременно загорелись еще два танка... Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. И только когда последний танк исчез за пыльным гребнем кургана, Лопахин, сверкнув синеватыми белками, глянул на бледное лицо Копытовского, вкрадчиво спросил:

— Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал?

— Посереешь от такой жизни, —

тяжело переводя дыхание, ответил Копытовский.

Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал лейтенант Голощеков.

Удар пришелся по левому флангу роты Голощекова. Шедший впереди средний танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет станкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек... Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным, тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и, когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк: по грудь засыпанный землею, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх и, едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым, детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя чокнулась с покатой серой бронею танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки, а по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый, нежно-голубой дымок...

Горящий танк, с взревевшим словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад, пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого вишенника.

Ослепленный и полузадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел: на полном ходу танк попал в пустой, заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели... Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над взрытой землей, бессильная и жалкая.

Все это видел Копытовский. Дыша коротко и часто, следил он округлившимися глазами за свирепым движением и гибелью вражеского танка и опомнился только тогда, когда над ухом лопнул знакомый выстрел своего, лопахинского, ружья. С птичьей быстротой повернув голову, Копытовский увидел справа, в сотне метров от окопа, танк, шедший неровными, судорожными рывками и через короткое мгновение остановившийся, и почти вплотную возле себя, сбоку, багровое, чужое лицо Лопахина.

Два немецких танкиста, словно серые тени, метнулись из люка остановившейся машины. Один из них, в распахнутом мундире, падая на спину, круто повернулся на каблуках, крестом раскинул руки; второй, без шапки, темноволосый, в серой рубашке с завернутыми по локти рукавами, хотел было встать на колени и вдруг опять приник к земле, приник всем телом, пополз, извиваясь по-змеиному, почти не шевеля руками...

В это самое мгновение замешкавшийся на секунду Копытовский почувствовал, как из рук его с силой рванули автомат: Лопахин, не сводя завороженных глаз с ползущего танкиста, тянул к себе автомат Копытовского, но как только справа, из окопа Звягинцева, треснул одинокий выстрел и ползущий танкист уткнулся носом в землю, Лопахин отпустил автомат, повернул к Копытовскому исказившееся от гнева лицо, со свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь, сказал:

— Ты... сволочь, раздолбанное корыто!.. Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, когда он в плен начнет сдаваться?! Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен — мертвый, понятно тебе, ты, мамин сын?!

* * *

Уже высоко над истерзанной снарядами землей поднялось в синем и хорошем небе солнце, уже острее, горше и милее сердцу стал запах пригретого солнцем степного полынка, когда из-за окутанных маревом донских высот снова появились танки и немецкая пехота снова поднялась в третью по счету, бесплодную атаку...

Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе, немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье.

После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина... Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки,

отирая обильно струившийся пот, затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал:

— Ну, вот и притихло...

Он наслаждался блаженной тишиной и с детским вниманием, слегка склонив голову набок, долго прислушивался к сухому шороху осыпавшейся с бруствера земли. Песчинки и мелкие, черствые крошки глины желтым ручейком стекали по скату насыпи, отвесно падали на дно окопа, ударялись о расстрелянные гильзы, густо лежавшие у ног Звягинцева, и гильзы тоненько, мелодично позвякивали, словно невидимые, скрытые под землей колокольчики. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик. Звягинцев неслышно повернулся и на этот новый, привлекший его внимание звук. Оранжевый шмель с жужжанием, похожим на вибрирующий стон низко отпущенной басовой струны, сделал круг над окопом, на лету выпустил бархатно-черные, мохнатые лапки, сел на торчавший из бруствера стебель ромашки. Часто мигая, Звягинцев внимательно смотрел на упруго качавшуюся запыленную ромашку, на невероятно нарядного шмеля, смотрел так, будто все это он видел впервые в жизни, и вдруг удивленно вскинул голову: легко пахнувший ветерок откуда-то издалека донес до его слуха чистый и звонкий крик перепела...

И шелест ветра в сожженной солнцем траве, и застенчивая, скром-

ная красота сияющей белыми лепестками ромашки, и рыскающий в знойном воздухе шмель, и родной, знакомый с детства голос перепела — все эти мельчайшие проявления всесильной жизни одновременно и обрадовали и повергли Звягинцева в недоумение. «Как будто и боя никакого не было, вот диковинные дела! — изумленно думал он. — Только что кругом смерть ревела на все голоса, и вот тебе, изволь радоваться, перепел выстукивает, как при мирной обстановке, и вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами... Чудеса, да и только!»

Растерянно озиравшийся Звягинцев напоминал в эти минуты человека, только что очнувшегося от давившего его во сне кошмара и со вздохом облегчения принявшего простую и желанную действительность. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина стояла настороженная, недобрая, как перед грозой, и, продлись она дальше, Звягинцев, наверное, стал бы тяготиться ею, но вскоре на левом фланге короткими очередями застучал пулемет, из-за высоты начали пристрелку тяжелые немецкие минометы, и недолгое затишье кончилось так же внезапно, как и началось.

Подносчик патронов — молоденький, малознакомый Звягинцеву красноармеец — подполз сзади к окопу, сказал, кряхтя и отдуваясь:

— Боепитание доставил. Ну, как, борода, заправляться будешь?

Звягинцев провел ладонью по отросшей на щеках медно-красной щетине, обидчиво спросил:

— Какая же я, то есть, борода! Что я тебе — старик, что ли?

— Старик не старик, а около этого, обросший до безобразия. Ну, отсыпай свою порцию.

— Мало ли что обросший... Красоту при таком отступлении некогда наводить, это понимать надо, а года мои не такие уж старые, — недовольно проговорил Звягинцев, начиняя патронную сумку тяжелыми маслянисто-теплыми на ощупь патронами.

Не обращая внимания на поправку, словоохотливый подносчик сказал:

— Что ты, отец, гнешься в окопе, как грешная душа? Немца на виду нету, стрельбы настоящей тоже нету, вылазь на солнышко, разомни старые кости!

Слова «отец» и «старые кости», очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу, он поморщился, не без ехидства спросил:

— А почему же ты, парень молодой, на пузе передвигаешься, если немца не видно и огня мало?

— Это я по старой привычке, — смеясь, ответил подносчик. — Понимаешь, при моей специальности до того привык ползком, как пресмыкающееся животное, пробираться, что боюсь, как бы вовсе не разучиться на ногах ходить. Все время так и тянет на брюхе проползти...

— Дурачье дело нехитрое, вполне можешь разучиться, — охотно подтвердил Звягинцев.

От скуки ему захотелось поговорить с веселым парнем, и он спросил, как и всегда при разговоре с молодыми бойцами, невольно употребляя тон слегка снисходительный и покровительственный:

— Ты, паренек, не из третьей роты? Личность твоя мне будто знакомая.

— Из третьей.

— А фамилие твое как?

— Утишев.

— Ты женатый, Утишев?

Парень отрицательно покачал головой, заулыбался.

— Возраст мой молодой, не успел до войны.

— То-то, что не успел... Вот будешь подносчиком работать, отвыкнешь ходить, а после войны вздумаешь жениться и вместо того, чтобы идти на своих на двоих, как все добрые люди делают, вспомнишь во-

свиную привычку и поползешь на чуже к девке свататься. А она, сердечная, увидит такого жениха и — хлоп в обморок! А невестин родитель и учнет тебя поперек спины палкой охаживать да приговаривать: «Не позорь честную цевесту, такой-сякой! Ходи, как полагается!»

Утишев потянул к себе за лямку патронную коробку, усмехаясь, сказал:

— Небритый ты, а хитрый... Ты мне зубы не заговаривай, я слушать — слушаю, а патронам счет веду. Кончилась заправка! Стрелять не тебе одному.

Звягинцев хотел что-то возразить, но Утишев пополз к соседнему окопу и, не поворачивая головы, вдруг наставительно и серьезно сказал:

— А ты, борода, стреляй поэкономней и пометче, а то ты, наверное, пуляешь в белый свет, как в копеечку. Да про девушек на старости лет поменьше думай, тогда у тебя и руки дрожать не будут...

От неожиданности и обиды Звягинцев не сразу нашелся, что ответить, и, только помедлив немного, крикнул вдогонку:

— Бабушку свою поучи, как надо стрелять, сопливец ты этакий!

Утишев полз, улыбаясь и не оглядываясь, волоча за собой патронные коробки. Звягинцев презрительно посмотрел на его спину с проступившими на лопатках белыми пятнами соли, на веревочную лямку, перекинутую через плечо и глубоко врезавшуюся в добела выгоревшую на солнце гимнастерку, огорченно подумал: «Народ какой-то несерьезный пошел, просто черт его знает, что за народ! Как, скажи, все они в учениках у Петьки Лопахина были... Эх, беда, беда, нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем».

Мимолетно погоревав об отсутствующем друге, Звягинцев привел в порядок свое солдатское хозяйство: выбросил катавшиеся под ногами гильзы, поправил скатку, вычистил травою и припрятал в нишу котелок; хотел было немного углубить окоп, но при одной мысли о том, что надо опять орудовать лопаткой, по кусочку отколупывать сухую и твердую, как камень, землю, все существо его восстало против этого, и он ощутил вдруг такую чугунную тяжесть и усталость в руках, что сразу же и бесповоротно решил: «Обойдется и так, не колодезь же рыть, на самом деле! А смерть, если захочет, — так и в колодезе найдет».

Редкие хлопья облаков плыли на восток медленно и величаво. Лишь изредка белая, насквозь светящаяся тучка ненадолго закрывала солнце, но и в такие минуты не становилось прохладней; раскаленная земля дышала жаром, и даже теневая сторона окопа была до того нагрета, что Звягинцеву противно было к ней прикасаться.

В окопе стояла духота неподвижная, мертвая, как в жарко натопленной бане; назойливо звенели появившиеся откуда-то мухи. Разморенный полуденным зноем Звягинцев, посидев на свернутой скатке, вставал, тер тыльной стороной ладони слипавшиеся глаза, смотрел на подбитые и сгоревшие танки, на распластанные по степи трупы немцев, на бурую хвостатую тучу пыли, двигавшуюся далеко за высотами над грейдером, что тянулся на восток параллельно течению Дона. «Что-то умышляют проклятые фрицы, — думал, следя за движением пыли.— К ним, видать, подкрепления идут — вон какую пылищу подняли. Подтянут силенки, перегруппировку сделают, залижут болячки и опять полезут. Они — упорные черти, невыносимо упорные! Но и мы не из глины деланные, мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не сорок первый год! Побаловались сначала, и хватит!» — успокаивая себя, размышлял Звягинцев, а потом перевел

взгляд на подбитый Лопахиным танк.

Темно-серая, еще недавно грозная машина стояла, повернувшись наискось, зияя навсегда умолкшим жерлом приподнятого орудийного ствола. Первый танкист, прыгнувший из люка и срезанный с ног очередью автомата, лежал возле гусеницы, широко раскинув руки, и ветер лениво шевелил полу его распахнутого мундира; второй — убитый Звягинцевым — перед смертью успел отползти от танка. Сквозь редкие кустики полыни Звягинцев видел его темноволосый затылок, выброшенную вперед загорелую руку с засученным по локоть рукавом серой рубашки, отполированные, сверкавшие на солнце подковки и круглые, белые, стертые шляпки гвоздей на подошвах ботинок.

— При такой жарище к вечеру и вот этот крестник мой и другие битые обязательно припухнут и вонять начнут. От таких соседей тут не продыхнешь... — почему-то вслух сказал Звягинцев и гадливо поморщился.

По спине его поползли мурашки, и он зябко повел плечами, вспомнив тошнотно-сладкий, трупный запах, с самого начала весны неизменно сопутствовавший полку в боях и переходах.

Давным-давно прошло то время, когда Звягинцеву, тогда еще молодому и неопытному солдату, непременно хотелось взглянуть в лицо убитого им врага; сейчас он равнодушно смотрел на распростертого неподалеку рослого танкиста, сраженного его пулей, и испытывал лишь одно желание: поскорее выбраться из тесного окопа, который за шесть часов успел осатанеть ему до смерти, и поспать без просыпу суток двое где-нибудь в скирде свежей ржаной соломы.

Он без труда восстановил в памяти духовитый запах только что обмолоченной ржи, застонал от нахлынувших и сладко сжавших сердце воспоминаний и снова опустился на дно окопа, откинул голову, закрыл глаза. Его борол сон, и теперь он с удовольствием поговорил бы даже с Лопахиным, чтобы развеять тяжкую дрему, но Лопахин после четвертой атаки немцев перекочевал в запасной окоп и был далеко.

В забытьи, когда незаметно стирается грань между сном и явью, Звягинцев видел жену, детишек, убитого им танкиста в серой рубашке, директора МТС, какую-то незнакомую мелководную речушку с быстрым течением и отшлифованной разноцветной галькой на дне... Речушка беспокоилась в круглых глинистых берегах, гудела все настойчивее, сильнее, и Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл глаза: над ним высоко в небе шла шестерка наших истребителей, далеко опережая отстающий звенящий гул своих моторов.

Звягинцев был человеком практического склада ума и любил свою авиацию не вообще и не во всякое время, а только когда она прикрывала его с воздуха или на его глазах бомбила и штурмовала вражеские позиции; потому-то он и проводил стремительно удалявшихся истребителей холодным взглядом из-под сонно приспущенных век, с тихой злостью забормотал:

— Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные, — вы небось кофей пили да собачьи валенки свои натягивали, а теперь, после шапочного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь... Истребители бензина вы, вот кто вы есть такие!

Излить свое негодование до конца ему не удалось: немцы начали артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях и обо всем остальном на свете...

Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся, всеподавляющий гул.

Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем, давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердце страха... Так часто и густо ложились поблизости мины и снаряды, такой неумолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале кое-как крепившийся, под конец утратил и редко покидавшее его мужество и надежду уцелеть в этом аду...

Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и когда слева, неподалеку от окопа, разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий, неистовый крик раненого соседа, — внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти...

Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: «Надо бы окоп поглубже отрыть», — а потом уже не было ни связных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердце страха. Мокрый от пота, оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза, безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля побелевшими губами, начал молиться.

В далеком детстве, еще когда учился в сельской церковноприходской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда никакими просьбами не беспокоил бога, перезабыл все до одной молитвы — и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, господи!..»

Прошло несколько томительных, нескончаемо долгих минут. Огонь не утихал... Звягинцев рывком поднял голову, снова сжал кулаки до хруста в суставах, глядя припухшими, яростно сверкающими глазами в стенку окопа, с которой при каждом разрыве неслышно, но щедро осыпалась земля, стал громко выкрикивать ругательства. Он ругался так, что на этот раз, если бы слышал, ему мог бы позавидовать и сам Лопахин. Но и это не принесло облегчения. Он умолк. Постепенно им овладевало гнетущее безразличие... Сдвинув с подбородка мокрый от пота и скользкий ремень, Звягинцев снял каску, прижался небритой, пепельно-серой щекою к стенке окопа, устало, отрешенно подумал: «Скорей бы убили, что ли...»

А кругом все бешено гремело и клокотало в дыму, в пыли, в желтых вспышках разрывов. Покинутый жителями хутор горел из конца в конец. Над пылающими домами широко распростерла косматые крылья

огромная черная туча дыма, и к пламенному поверх окопов едкому запаху пороховой гари примешался острый и горький душок жженого дерева и соломы.

Артиллерийская подготовка длилась немногим более получаса, но Звягинцев за это время будто бы вторую жизнь прожил. Под конец у него несколько раз являлось сумасшедшее желание: выскочить из окопа и бежать туда, к высотам, навстречу двигавшейся на окопы сплошной, черной стене разрывов, и только большим напряжением воли он удерживал себя от этого бессмысленного поступка.

Когда немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину обороны и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому редкому дубняку луговой поймы, — Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленный затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа.

Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков, густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы — это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь в конце концов кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней мере он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом...

Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет курить, пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок — не дай бог рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест! Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень... не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось...»

Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую малость... Небось нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь! Смерть-то, она — не родная тетка, она, стерва, всем одинаково страшна — и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку...»

Артиллерия противника снова перенесла огонь на передний край, но теперь Звягинцев уже не с прежней обостренной чувствительностью воспринимал все происходившее вокруг него: и вражеский огонь не казался ему таким сокрушающим, да и снаряды месили землю не только возле его окопа, как представлялось ему раньше, а с немецкой ак-

куратностью окаймляли всю ломаную линию обороны...

Следуя за огневым валом, немецкая пехота приближалась к окопам. Солдаты шли спорым шагом, во весь рост. Танки били из пушек с ходу и с коротких остановок, но ответный орудийный огонь по ним, как заметил Звягинцев, стал значительно слабее. Тогда на помощь пришла наша тяжелая артиллерия. Далеко за Доном прокатился счетверенный глухой гром, снаряды с тяжким, шепелявым шелестом и подвыванием высоко над окопами прочертили в воздухе невидимые дуги, и разом впереди немецкой цепи вымахнули громадные, черные, расщепленные вверху столбы земли.

Танки рванулись вперед, спеша выйти из зоны обстрела. Не поспевая за ними, бегом двинулась и немецкая пехота.

С замирающим сердцем Звягинцев следил за тем, как, падая и шарахаясь от разрывов, обтекая воронки, быстро приближались расчлененные, скупо редеющие группы вражеских солдат. Многие из них на бегу уже строчили из автоматов... И вдруг ожил до этого таившийся в молчании наш передний край! Казалось бы, что все живое здесь давно уже сметено и сравнено с землей огнем вражеских батарей, но уцелевшие огневые точки дружно вступили в дело, и по немецкой пехоте хлестнул косой смертельный ливень пулеметного огня. Немцы залегли, однако, немного погодя, снова двинулись короткими перебежками на сближение.

Только на мгновение Звягинцев поднял прикованные к земле глаза — ничто не изменилось за последние полчаса там, вверху: небо было по-прежнему синее, безмятежно и величественно равнодушное, и так же неторопливо плыли в глубочайшей синеве редкие, словно бы опаленные солнцем и чуть задымленные по краям облака, и все тот же ровный, легкого дыхания ветер увлекал их на восток... Звягинцев увидел краешек этого голубого, осиянного солнцем мира, но все то, что успел он охватить одним безмерно жадным взглядом, разило прямо в сердце и было как скорбная улыбка, как прощальная женская улыбка сквозь слезы...

Совсем близко от щеки Звягинцева, возле его прищуренного глаза, мешая смотреть, колыхалась поникшая, отягощенная пылью ромашка, шевелились сизые веточки полыни, а дальше, за причудливым сплетением травинок, отчетливо и резко вырисовывались полусогнутые фигуры врагов, с каждой минутой все более увеличивающиеся в размерах, неотвратимо приближающиеся...

Прямо на окоп Звягинцева направлялись восемь немецких солдат. Впереди них, слегка клонясь вперед, будто преодолевая сопротивление сильного ветра, быстро шагал офицер. Он на ходу беззаботно помахивал палочкой, потом повернулся вполоборота и, видимо, что-то скомандовал. Солдаты обогнали его, побежали тяжелой рысью.

Звягинцев взял на мушку офицера, на секунду затаил дыхание, выстрелил. Он ждал, что офицер упадет, но тот продолжал идти как ни в чем не бывало. Дивясь бесстрашию лихого офицера и негодуя на себя, Звягинцев выстрелил второй раз, третий, спеша и волнуясь, послал еще две пули... Офицер шел, как заколдованный, может быть, лишь слегка убыстрив шаг, и по-прежнему игриво, словно на прогулке, помахивал палочкой и что-то горланил вслед солдатам.

«Да он же пьяный, собака!» — озарила Звягинцева догадка, и он, вставляя дрожащими пальцами обойму, от нетерпения и ярости заскрипел зубами: «Ну, погоди же... сейчас я тебя приземлю! Сейчас ты на земле допьешь свое...»

Пока он заряжал винтовку, сержант Никифоров со спокойной, деловитой неторопливостью двумя ко-

ротными очередями свалил бравого офицера и трех солдат. Остальные пятеро, отрезвленные потерями, поспешно залегли в воронках, начали с такой быстротой опорожнять обоймы автоматов, как будто хотели сразу расстрелять весь свой боезапас.

Танки гремели где-то справа. За шумом боя Звягинцев едва расслышал напряженный до предела, хриплый голос лейтенанта Голощекова:

— Пропускай танки! Пропускай танки! По пехоте — огонь!..

Уже на всем протяжении занятой ротой обороны, а также и на соседнем участке, куда нацелен был главный удар противника, немецкая пехота, отсеченная от танков огнем, залегла, а затем стала продвигаться вслед за прорвавшимися танками ползком от укрытия к укрытию, медленно сближаясь, готовясь к решающему броску.

Немцы были близко. Звягинцев отчетливо слышал слова немецкой команды — чужие слова ненавистной вражеской речи — и гулкие удары сердца, заполнившего всю грудную клетку. Он стрелял и в то же время тоскливо прислушивался: не застучит ли умолкший неожиданно пулемет сержанта Никифорова? Но пулемет молчал. «Сейчас — в штыки»,— с равнодушием обреченности подумал Звягинцев, ощупывая потной рукой гранату. От волнения ему не хватало дыхания, и он раздувал ноздри и втягивал горячий, пахнущий дымом воздух с сапом, словно загнанная непосильной скачкой лошадь.

Минуту спустя немцы с криком поднялись. Как в тумане, увидел Звягинцев серо-зеленые мундиры, услышал грузный топот ног, гром рвущихся ручных гранат, торопливые хлопки выстрелов и короткую, захлебнувшуюся пулеметную очередь... Он кинул по сторонам беглый, затравленный взгляд: из окопов уже выскакивали товарищи, его родные товарищи, побратимы на жизнь и на смерть; их было немного, но жидкое «ура!» их звучало так же накаленно и грозно, как и в былые, добрые времена...

Одним махом Звягинцев выбросил из окопа свое большое, ставшее вдруг удивительно легким, почти невесомым тело, перехватил винтовку, молча побежал вперед, стиснув оскаленные зубы, не спуская исподлобного взгляда с ближайшего немца, чувствуя, как вся тежесть винтовки сразу переместилась на кончик штыка.

Он успел отбежать от окопа всего лишь несколько метров. Позади молнией сверкнуло пламя, оглушительно громыхнуло, и он упал вниз лицом в клубящуюся темноту, которая мгновенно разверзлась перед его широко раскрывшимися, обезумевшими от страшной боли глазами.

* * *

Незадолго до заката солнца, измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки, закрепились на высотах и, не предпринимая активных действий, стали методически обстреливать переправу и пустынные дороги луговой поймы артиллерийско-минометным огнем.

Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, миновав развалины сгоревшего хутора, бездорожно, лесом начали отходить к Дону.

Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненного лейтенанта Голощекова несли на плащ-палатке бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, злой, как черт, Лопахин и — чуть в стороне от него — согнувшийся в дугу Копытовский, несший тяжелый мешок с патронами и ружье убитого бронебойщика Борзых.

Когда проходили по месту, где

утром сиял зеленой листвою и полнился звонкими птичьими голосами сад, а теперь чернели одни обугленные пни и, словно разметанные бурей невиданной силы, в диком беспорядке лежали вырванные с корнем, изуродованные и поломанные деревья с иссеченными осколками ветвями. Лопахин остановился возле широкого устья колодца, внимательно посмотрел на мрачно черневший в темноте силуэт сгоревшего немецкого танка. Танк стоял, накренившись набок, подмяв под себя одной гусеницей кусты малины и изломанный в щепки обод поливального колеса, при помощи которого когда-то орошались, жили, росли и плодоносили деревья. В теплом воздухе неподвижно висел смешанный прогорклый запах горелого железа, выгоревшего смазочного масла, жженого человеческого мяса, но и этот смердящий запах мертвечины не в силах был заглушить нежнейшего, первозданного аромата преждевременно вянущей листвы, недоспелых плодов. Даже будучи мертвым, сад все еще источал в свою последнюю ночь пленительное и сладостное дыхание жизни...

Шаркая сапогами по оборванным и спутанным плетям ежевичника, подошел Копытовский, вздохнул, тихо проговорил:

— Эх, жизнь ты наша, жестянка! Закурить бы...

— По мине соскучился? Потерпишь и не куря, — сухо и так же тихо отозвался Лопахин.

— Потерпишь, потерпишь, — недовольно забормотал Копытовский. — Русский солдат, конечно, все вытерпит, но и у него ведь терпелка не из железа выструганная... Я и так нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались...

Лопахин молчал, все так же пристально смотрел на темную громадину танка. Копытовский поправил мешок на спине, приглушенно заговорил:

— И курить страшная охота, а жрать — не говори! Это у кого какая натура: у иного от страху все наружу просится, а я чем больше пугаюсь, тем сильнее жрать хочу. А день нынче был страховитый, ой и страховитый! Как он, этот проклятущий немец, пер на нас нынче, а? Я себя уж в покойники записал, думал, что навек позабуду, как дышать, ан нет, не вышло!

Лопахин не слышал Копытовского; молча указав на танк, он проговорил:

— Вот она, Кочетыгова работа, а самого уже нету в живых, геройски погиб... Парень-то какой был!

Без необходимости о смерти товарищей не принято было говорить — таков был в части молчаливый сговор, — но тут Лопахина словно прорвало, и он, обычно не очень-то охочий на излияния подобного рода, вдруг заговорил взволнованным, горячим полушепотом:

— Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг был, таких в полку поискать. Да что я говорю — в полку! В армии! А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе — мертвый приподнялся, на последнем вздохе! — и кинул бутылку... И зажег! Мать теперь узнает, — это как? Понимаешь ты, как она после этого жить будет?! Я же стрелял в этот проклятый танк. Не взяло! Не взяло, будь он проклят. Раньше надо было его бить, на подходе, и не в лоб, а по борту... Дурак я! Старый, трижды проклятый богом дурак! Заспешил я, и вот погиб парень... Еще не жил, только что оперился, а сердце — как у орла! Смотри, на что оказался способный, на какое геройство, а? А я... я, когда таких ребят по восемнадцати да по девятнадцати лет на моих глазах убивают, я, брат, плакать хочу... Плакать и убивать беспощадно эту немецкую сволочь! Нет, брат, мне погибать — совсем

другое дело: я довольно пожилой кобель и жизнь со всех концов нюхал, а когда такие, как Кочетыгов, гибнут, у меня сердце не выдерживает, понятно? Чем немцы за это расплатятся? Ну, чем? Вот она, немецкая падаль, лежит тут и воняет, а сердце у меня все равно голодное: мстить хочу! А за материнские слезы чем они расплатятся? Да я по колени, по глотку, по самые ноздри забреду в поганую немецкую кровь и все равно буду считать, что расплата еще не начиналась! Не начиналась, понятно?!

Косноязычная, несвязная, как у пьяного, речь Лопахина несказанно удивила и взволновала Копытовского. Вначале он слушал равнодушно и, чтобы не так хотелось курить, сунул в рот щепоть измявшейся в порошок махорки. Он жевал горчайшую табачную жвачку, сплевывал обжигавшую нёбо и десны слюну и удивлялся, что это подеялось с Лопахиным, всегда таким сдержанным на любое проявление чувств? На Лопахина это было совсем непохоже, нет, непохоже! А под конец Копытовский уже судорожно глотал пропитанную табачной горечью слюну и, всячески стараясь подавить непрошеное волнение, тщетно пытался рассмотреть в темноте выражение лица Лопахина. Но тот стоял к нему вполоборота, низко опустив голову, и в интонациях голоса его, в наклоне головы было что-то такое, от чего Копытовскому стало окончательно не по себе. Все эти рассуждения и воспоминания о погибшем Кочетыгове были явно не к месту и не ко времени, Копытовский был в этом твердо убежден. И он поборол волнение, решительно и резко сказал:

— Хватит тебе причитать! Ты сейчас вроде как плохая баба... Ну, убили парня, да мало ли их нынче побили? Всех не оплачешь, и вовсе не наше с тобой это дело, и вовсе ни к чему сейчас этот разговор. Давай, трогайся, а то ребята уже далеко ушли, как бы не отбиться нам.

Лопахин круто повернулся, не сказав ни слова больше, пошел вперед. В молчании они прошли мимо тонувших в лиловом сумраке развалин МТФ, размеренным пехотным шагом протопали по хрустевшим под ногами обломкам черепицы, и только в лесу, когда присели на минуту отдохнуть, Лопахин прервал долгое молчание:

— А Звягинцев тоже... убит?

— А я откуда же знаю?

— Ты же сказал, что видел, как он упал.

— Ну, видел, а убит он или ранен — не знаю. Я его за пульс не щупал.

— Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты ведь мог в суматохе не разобрать... — с робко прозвучавшей в голосе надеждой снова спросил Лопахин.

И опять в дрогнувшем голосе Лопахина проскользнула жалкая, незнакомая Копытовскому нотка, и Копытовский невольно смягчился, уже иным тоном сказал:

— Нет, он падал — Звягинцев, это я видел точно. Мина сзади него рванула, ну, он и с ног долой, а насмерть или как, не знаю.

— Что ты знаешь? Что ты только знаешь? Ни черта ты ничего не знаешь! Тебе и знать-то нечем, аппарата у тебя такого нет, — раздраженно, желчно сказал Лопахин. — Вставай, пошли. Расселся, как на курорте, тоже мне — фигура...

Это говорил уже прежний, обычный Лопахин, и голос у него теперь звучал по-старому: грубовато, с хриплым надсадцем... Копытовский хотя и обиделся, но смолчал: с прежним-то Лопахиным жить было попроще...

Снова они молча шли в кромешной тьме, спотыкаясь об оголенные корни дубков, цепляясь за разлатые ветви кустарника, только по звуку шагов определяя направление, взятое идущими впереди. В лощине около перекрестка дорог их накрыла огнем минометная батарея против-

ника. Несколько минут они лежали, прижимаясь к похолодавшей песчаной земле, а потом по команде старшины поднялись, бегом пересекли дорогу. Огонь был слепой, и потерь они не понесли. И еще раз, когда подходили к полуразрушенной дамбе, по которой немцы пристрелялись еще засветло, попали под обстрел и на этот раз пролежали в кустарнике почти полчаса.

Непроглядная темнота озарялась вспышками разрывов, насквозь прошивалась светящимися нитями трассирующих пуль. Иногда далеко на высотах, где были немцы, загорался белый, ослепительный свет ракет, отблеск его ложился на верхушки деревьев, причудливо скользил по ветвям и медленно, как бы нехотя, угасал. Ночью в лесу особенно гулко, раскатисто звучали разрывы снарядов, и каждый раз Копытовский удивленно восклицал:

— Ну и зву-у-ук тут, как в железной бочке!

За дамбой их окликнули; тускло мигнул и погас луч карманного фонарика, прикрытого полой шинели; чей-то преисполненный мягкого добродушия басок прогудел:

— Ну, куда прешь, пехота? Куда прешь? Топаете, как овцы, без разбору, а тут минировано. Держи левее дамбы, на сотенник левее. Как это не обозначено? Очень даже обозначено, видишь, столбики забиты и люди расставлены. Где граница? А там, возле лощины, там вас встретят и укажут дорогу, там вас проводят братья-саперы. Саперы, они все могут: и на тот свет проводят и даже дальше... А это что же у вас, раненый? Лейтенант? Эх, бедолага! Растрясете вы его по такой дороге. Вам надо бы еще левее брать, там местность поровнее будет.

Отрывки услышанного разговора настроили Копытовского на мрачный лад.

— Слыхал, Лопахин, какие у этих копкодавов порядки? — возмущенно заговорил он. — Про нас го-

ворят — пехота, дескать, а сами чего стоят? Тоже кавалерия! Всю жизнь на топорах верхом ездят и лопатами погоняют, а туда же, куда и люди, — с насмешками... Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что это — опытное поле, что ли? Черт тут, в такой темноте, рассмотрит ихние столбики. Тут на телеграфный столб напорешься и, пока не стукнешься об него лбом, ничего не разберешь. Вот несчастные куроеды, лопатошники, кротовое племя! В упор ничего не видно, а они столбики забивают... Задремал бы этот саперный жеребец с басом, какой дорогу указывал, и за милую душу могли бы мы забрести на минное поле. Веселое дело! От немца ушли, а на своих минах начали бы подрываться... Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там считай себя спасенным, и вот тебе, здравствуйте, чуть не напоролись на свое же родное минное поле. А такие случаи бывают, сколько хочешь! Кажется, вот уже достиг человек своей цели, и, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке! У нас в колхозе — это еще до войны дело было — колхозный счетовод три года сватал одну девушку; она телефонисткой при сельсовете работала. Он ее сватает, а она не идет за него, потому что он ей совершенно не нравился и никакой к нему любви она не питала. Но он, собачий сын, все-таки своего добился: согласилась она выходить за него от отчаяния — до того надоел он ей своим приставанием. Вода, говорят, камень долбит, так и он: долбил три года и своего достиг. А она, эта девушка, заплакала и подругам так и сказала: «Выхожу за него, милые подружки, потому, — говорит, — что никакого покою от него не имею, а вовсе не по горячей любви». Ну, одним словом, пришло дело к концу, записались они в загсе. Вечером счетовод гостей созвал. Сидит за столом, сияет, как блин, намазанный маслом, довольный, невозможно гордый собой: как же, три года сватал и на своем все-таки поставил! И вот он гордился, гордился, а через полчаса тут же, за столом, ноги протянул. И знаешь, по какой причине? Вареником подавился, гад! От радости или от жадности, этого я не могу сказать, но только глотнул он его целиком, не жевавши, а вареник и попади ему в дыхательное горло. Ну, и готов! Его уж, этого неудачного молодого, и кверх ногами ставили, и по спине кулаками и стульями били, били, надо прямо сказать, с усердием и чем попадя, и квачем в горло ему лазили, чего только с ним не делали! Не помогло. Так, за столом сидя, и овдовела, к своему удовольствию, наша телефонистка. А еще у нас в колхозе был такой случай...

Закройся со своими случаями! — строго приказал Лопахин.

Копытовский покорно умолк. Минуту спустя он споткнулся о пень и, гремя котелком, растянулся во весь рост.

— Тобою только сваи на мосту забивать! — злобно зашипел Лопахин.

— Да ведь темнота-то какая, — потирая ушибленное колено, виновато оправдывался Копытовский.

Молчать — после всего пережитого днем — он был, видимо, не в состоянии и, пройдя немного, спросил:

— Не знаешь, Лопахин, куда нас старшина ведет?

— К Дону.

— Я не про то: к мосту он ведет или куда?

— Левее.

— А на чем же мы там переправляться будем? — испуганно спросил Копытовский.

— На соплях, — отрезал Лопахин.

Несколько минут Копытовский брел молча, а потом примирительно сказал:

— А ты не злись, Лопахин! И вот ты все злишься, все злишься... И чего ты, спрашивается, злишься? Одно-

му тебе несладко, что ли? Всем так же.

— Того и злюсь, что ты глупости один болтаешь.

— Какие же глупости? Как будто ничего такого особенного не сказал.

— Ничего? Хорошенькое ничего! Видишь ты, что немец по мосту кроет?

— Ну, вижу.

— Видишь, а спрашиваешь: к мосту идем или куда. Ты, с твоим телячьим рассудком, ясное дело, повел бы людей к разбитому мосту, огня хватать... И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами, без тебя тошно. И на пятки мне не наступай, а то я могу локтем кровь у тебя из носа вынуть.

— Ты на свои пятки фонари навесь, а то их не видно в потемках. Тоже, с дамскими пятками оказался... — огрызнулся Копытовский.

— Фонарей, в случае чего, я могу тебе навешать, а пока ты ко мне не жмись, я тебе не корова, и ты мне не теленок, понятно?

— Я к тебе и не жмусь.

— Держи дистанцию, понятно?

— Я и так держу дистанцию.

— Какая же это дистанция, если ты все время мне на пятки наступаешь? Что ты возле меня трешься?

— Да не трусь я возле тебя, на черта ты мне сдался!

— Нет, трешься! Что ты, потеряться боишься, что ли?

— И вот опять ты злишься, — удрученно проговорил Копытовский. — Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, как бы тебе сказать... ну, опасаюсь, что ли! Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею, да и только! Идем мы левее моста, лодок там не будет, это я точно знаю. А раз лодок не будет, то переправляться придется на подручных средствах, а я уже ученый: переправлялся через Донец на подручных средствах и знаю, что это за штука...

— Может, ты на время закроешься со своими разговорчиками? — сдержанно, со зловещей вежливостью вопросил из темноты голос Лопахина.

И унылый, но преисполненный упрямой решимости тенорок Копытовского откуда-то сзади, из-за темной шапки куста, ему отозвался:

— Нет, я не закроюсь, мне жить осталось — самые пустяки, только до Дона, а потому я должен перед смертью высказаться... Даже закон есть такой, чтобы перед смертью высказываться. Подручные средства — вот что такое: умеешь плавать — плыви, а не умеешь — затыкай пальцами ноздри покрепче и ступай на дно раков пасти... Получили мы приказ форсировать Донец, ну, наш командир роты и дает команду: «Используй подручные средства, за мной ребята, бегом!» Скатил я в воду порожний немецкий бочонок из-под бензина, ухватился за него и болтаю ногами, форсирую водную преграду в лице этого несчастного Донца. До середины кое-как добрался, не иначе течением или ветром меня отнесло, а потом, как только одежда на мне намокла, так и начал я от бочонка отрываться. Он, проклятый, вертится на воде, и я вместе с ним: то голова у меня сверху, а то внизу, под водой. Один раз открою глаза — мать честная! — красота, да и только: солнце, небо синее, деревья на берегу, в другой раз открою — батюшки светы! — зеленая вода кругом, дна не видно, какие-то светлые пузыри мимо меня вверх летят. Ну, и, как полагается, оторвался я от этого бочонка, пешком пошел ко дну... Спасибо товарищ один нырнул и вытащил меня.

— Напрасно сделал. Не надо было вытаскивать! — сожалеюще сказал Лопахин.

— Напрасно не напрасно, а вытащили. Ты бы, конечно, не вытащил, от тебя жди добра! Только потому я теперь и норовлю подаль-

ние от этих подручных средств держаться. Лучше уж под огнем, да по мосту. Потому и подпирает мне под дыхало, как только вспомню, сколько я тогда донецкой водички нахлебался... Ведра два выпил за один прием, насилу опорожнился тогда от этой воды...

— Не скули, Сашка, помолчи хоть немного, как-нибудь на этот раз переправишься, — обнадежил Лопахин.

— Как же я переправлюсь? — в отчаянии воскликнул Копытовский. — Оглох ты, что ли? Все время тебе толкую, что плавать вовсе не могу, ну, как я переправлюсь? А тут еще ты этих чертей, патронов, насовал мне в мешок пуда два, да еще ружье Борзых у меня, да скатка, да автомат с дисками, да шанцевый инструмент в лице лопатки, да сапоги на мне... Умеючи плавать и то с таким имуществом надо тонуть, а не умеючи, как я, просто за милую душу: заброди по колено в воду, ложись и помирай на сухом берегу. Нет, мне тонуть надо непременно, уж это я знаю! Вот только за каким я чертом патроны и всю остальную муру несу, мучаюсь напоследок перед смертью — не понимаю! Подойдем к Дону — брошу все это к черту, сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятней...

— Замолчи, пожалуйста, не утонешь ты! Навоз не тонет, — яростным шепотом сказал Лопахин.

Но Копытовский тотчас же отозвался:

— Ясное дело, что навоз не тонет, и ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне — каюк!.. Как только дойдем до Дона — безопасную бритву подарю тебе на память... Я не такой перец, как ты, я зла не помню... Брейся моей бритвой на здоровье и вспоминай геройски утопшего Александра Копытовского.

— Уродится же этакая ягодка на свете! — сквозь зубы пробормотал Лопахин и прибавил шагу.

Переругиваясь вполголоса, по щиколотку увязая в песке, они спустились с песчаного холма, увидели в просветах между кустами тускло блеснувшую свинцово-серую полосу Дона, причаленные к берегу темные плоты и большую группу людей на песчаной косе.

— Дари бритву, Сашка! Слышишь ты, утопленник? — сурово сказал Лопахин.

Но Копытовский счастливо и глупо захохотал.

— Нет, миленький, теперь она мне самому сгодится! Теперь я опять живой! Плот увидал — и как заново на свет народился!

— Ты, Лопахин? — окликнул их из темноты старшина Поприщенко.

— Я, — нехотя отозвался Лопахин.

Старшина отделился от стоявшей возле плота группы, пошел навстречу, с хрустом дробя сапогами мелкие речные ракушки. Он подошел к Лопахину в упор, сказал дрогнувшим голосом:

— Не донесли... умер лейтенант.

Лопахин положил на землю ружье, медленным движением снял каску. Они стояли молча. Прямо в лицо им дул теплый, дышащий пресной влагой ветер.

Ночью шел дождь, порывами бил сырой, пронизывающий ветер, и глухо, протяжно стонали высокие тополи левобережной, лесистой стороны Дона. Насквозь промокший и продрогший, Лопахин жался к безмятежно храпевшему Копытовскому, натягивал на голову тяжелую, пропитанную водой полу шинели, сквозь сон прислушивался к раскатам грома, звучавшего в сравнении с артиллерийской стрельбой по-домашнему мирно и необычайно добродушно.

С рассветом дождь прекратился. Пал густой туман, Лопахин забылся тревожным и тяжелым сном, но вскоре его разбудили. Старшина поднял всех на ноги, охрипшим от кашля голосом сказал:

— Лейтенанта надо похоронить

как полагается и идти, нечего нам тут без толку киселя месить.

На поляне возле дикой яблони с поникшими листьями, осыпанными слезинками дождя, Лопахин и еще один красноармеец, по фамилии Майборода, вырыли могилу. Когда сняли первые пласты земли, Майборода сказал:

— Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла.

— Да, — сказал Лопахин.

И больше до конца работы они не обмолвились ни одним словом. Последнюю лопатку земли со дна готовой могилы выбросил Майборода. Он вытер ладонью покрытый испариной лоб, вздохнул.

— Ну, вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик...

— Да, — снова сказал Лопахин.

— Теперь закурим? — спросил Майборода.

Лопахин отрицательно качнул головой. Желтое, измятое бессонницей лицо его вдруг сморщилось, и он отвернулся, но быстро овладел собой, твердым голосом сказал:

— Пойду старшине доложу, а ты... ты покури пока.

* * *

Старшина любил поговорить, Лопахин это знал и больше всего боялся, что у могилы лейтенанта, оскорбляя слух, кощунственно зазвучат пустые и ненужные, казенные слова. Он с тревогой и недоверием смотрел на старое, рыжеусое, с припухшими глазами лицо старшины, переводил взгляд на ремни и потрепанную полевую сумку лейтенанта, которую старшина осторожно прижимал к груди левой рукой.

Только вчера он, Лопахин, пил водку в окопе лейтенанта, всего лишь несколько часов назад, и эта сумка и пропотевшие ремни портупеи плотно прилегали к горячему, ладному телу лейтенанта, а сейчас лежит это же тело у края могилы, неподвижное и как бы укороченное смертью, лежит мертвый лейтенант Голощеков, завернутый в окровавленную плащ-палатку, и не тают, не расползаются на бледном лице его капельки дождя; и вот уже подходит последняя минута прощания...

Лопахин вздрогнул, когда старшина хрипло и тихо заговорил:

— Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты! Мы сегодня хороним нашего лейтенанта, последнего офицера, какой остался у нас в полку. Он был тоже с Украины, только области он был соседней со мной, Днепропетровской. У него там, на Украине, мать-старуха осталась, жинка и трое мелких детишек, это я точно знаю... Он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете, и не об этом я хочу сейчас сказать... Я хочу сказать возле этой дорогой могилы...

Старшина умолк, подыскивая нужные слова, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал:

— Глядите, сыны, какой великий туман кругом! Видите? Вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там, на Украине нашей, и в других местах под немцем остался! Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днем через это горе белого света не видят... А мы об этом должны помнить всегда: и сейчас, когда товарища похороняем, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним! Мы на восток шли, а глаза наши глядели на запад. Давайте туда и будем глядеть до тех пор, пока последний немец от наших рук не ляжет на нашей земле... Мы, сынки, отступали, но бились как полагается, вон сколько нас осталось — раз, два и обчелся... Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... только и радости, что не стыдно, но и не легко! От земли в гору нам

глаза подымать пока рано. Рано подымать! А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: «Мы идем кончать то, что начали вместе с вашим сыном и отцом, за что он — ваш дорогой человек — жизнь свою на Донщине отдал, — немца идем кончать, чтоб он выздох!» Нас потрепали, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре. Но я старый среди вас человек и старый солдат — слава богу, четвертую войну ломаю — и знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастем и мы! Пополнится наш полк людями, и вскорости опять пойдем мы хоженой дорогой, назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем... Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!

Старшина трудно, по-стариковски, преклонил одно колено и, нагнувшись над телом лейтенанта, сказал так тихо, что взволнованный Лопахин еле расслышал:

— Может, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку... Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины...

Двое бойцов соскочили в могилу, бережно приняли на руки негнущееся тело лейтенанта. Не подымаясь с колен, старшина бросил горсть песчаной земли и поднял руку.

Быстро вырос над могилой маленький песчаный холмик, отгремел троекратный ружейный салют, и, с удесятеренной и разгневанной силой продолжая его, загрохотала расположенная неподалеку гаубичная батарея.

* * *

Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночества, он ушел в лес, лег под кустом. Мимо медленно прошли Копытовский и еще один боец. Лопахин слышал, как, захлебываясь от восхищения и зависти, Копытовский говорил:

— ...новенькая дивизия, она недавно подошла сюда. Видал, какие ребята? Что штаны на них, что гимнастерки, что шинельки — все с иголки, все блестит! Нарядные, черти, ну, просто как женихи! А на себя глянул — батюшки светы! — как, скажи, я на собачьей свадьбе побывал, как, скажи, меня двадцать кобелей рвали! Одна штанина в трех местах располосованная, половина срама на виду, а зашить нечем, нитки все кончились. Гимнастерка на спине вся сопрела от пота, лентами ползет и уже на бредень стала похожа. Про обувку и говорить нечего,— левый сапог рот раззявил, и неизвестно, чего он просит, то ли телефонного провода на перевязку подошвы, то ли настоящей починки... А кормятся они как? Точно в санатории! Рыбу, глушенную бомбами, ловят в Дону; при мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь! Живут, как на даче. Так, конечно, можно воевать. А побывали бы в таком переплете, как мы вчера, — сразу облиняли бы эти женихи!

Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что этак, чего доброго, придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя с тощим «сидором» за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем воображение подсказало ему и все остальное: скучная, лишенная боевых тревог и радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учения за городом в выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни и воды и медные трубы, будет смотреть, как на молодого лопоухого призывника... Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него эта тихая жизнь! Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и — лишь на худой конец — постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет, и неизвестно, куда попадет он после госпиталя; только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров, Борзых... Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона! Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя?!

Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина.

«Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал, никуда я отсюда не пойду!» — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника.

Он прошел не больше двадцати шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стояв-

шего к нему спиной Стрельцова и еще трех незнакомых красноармейцев.

— Николай! – крикнул Лопахин, не помня себя от радости.

Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил.

— Николай! Откуда ты, чертушка?! — снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом.

Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая, просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину.

— Дружище, откуда же ты взялся? — еще издали прокричал Лопахин.

Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне.

Они сошлись возле недавно отрытой щели с празднично желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова, задыхаясь от волнения, сказал:

— Какого черта! Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь, в чем дело? Говори же, откуда ты, как? Почему ты здесь очутился?

Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и наконец сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова:

— Петька! До чего я рад — ты просто не поймешь!.. Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас... Тут столько нар-р-оду...

— Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили? — воскликнул Лопахин.

— И вдруг смотрю — он! Лопахин! А где же остальные?

— Да ты что, приоглох немного? — удивленно спросил Лопахин.

— Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел! Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан-артиллерист сказал, что все оттуда отводится, — еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов.

Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу.

— Э, братишечка, да ты основательно недослышишь! Вот у нас с тобой и получается, как в присказке: «Здорово, кума!» — «На рынке была». — «Аль ты глуха?» — «Купила петуха». Да ты что, на самом деле недослышишь? — уже значительно громче спросил Лопахин. — И говоришь как-то неровно, заикаешься... Постой... Так это же у тебя после контузии? Вот оно что!

Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно, тяжело заикаясь, сказал:

— Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать, я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот... видишь, заикаться стал... Ты пиши, а я тебе буду отвечать.

Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата?» Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал:

— Ну, как сказать — удрал... Ушел — это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче.

«За каким чертом? Тебе, дураку, лечиться надо!» — написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось.

Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами.

— Как же это — за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы? — Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиняя карандаш, сдувая с колена крохотные стружки, сказал: — А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении, вас осталось немного... Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя?

Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжала горячая спазма, и он, стыдясь своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет.

Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина...

Но Лопахин был упрямый человек: он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул.

* * *

Очнулся Звягинцев от толчков и дикой боли, огнем разлившейся по всему телу. Он с хрипом вздохнул, удушливо закашлялся — рот его был набит землей и пылью — и словно со стороны услышал свой тихий, захлебывающийся кашель и глубокий, исходивший из самого нутра стон.

Кругом рвались снаряды, мины. Разные по силе, по звуку удары сотрясали землю, с замирающим визгом и воем проносились осколки, где-то позади длинными очередями хлестал пулемет. От близких разрывов тугие волны горячего, пропахшего гарью воздуха прижимали к земле лежавшего плашмя Звягинцева, клубили и вихрили вокруг него прогорклую пыль. Все еще воспринимая все звуки боя так, будто они доносились до него откуда-то из неведомого далека, Звягинцев слегка пошевелился, удесятерив этим слабым движением жгучую боль, и только тогда до его помраченного сознания дошло, что он жив.

Уже боясь шевельнуться, лопатками, спиной, ногами ощущая, что гимнастерка и штаны обильно напитаны кровью и тяжело липнут к телу, Звягинцев понял, что жестоко изранен осколками и что боль, спеленавшая его с головы до ног, — от этого.

Он подавил готовый сорваться с губ стон, попробовал вытолкнуть языком изо рта мешавшую ему дышать клейкую грязь; на зубах заскрипел зернистый песок, и так оглушителен был этот скрежещущий звук, резкой болью отдавшийся в голове, так тошнотно-приторно ударил в ноздри запах собственной загустевшей крови, что он снова едва не лишился сознания. А потом сознание, как бы трепетавшее на тончайшей, могущей в любой миг оборваться ниточке, стало крепнуть, расти, и тогда он с запоздалым, остро вспыхнувшим страхом вспомнил, как когда-то, наверное, совсем недавно, выскочил из окопа, как увидел невдалеке бегущих прямо на него немцев и одного из них — коренастого, полусогнутого, с расстегнутым воротом измазанного глиной мундира, с вылезшими из орбит серыми глазами. Немец бежал, плотно сжав бледные губы, с сапом втягивая раздутыми ноздрями воздух, чуть выставив вперед левое плечо. Он на бегу пытался втолкнуть в гнездо автомата плоскую черную обойму, а Звягинцев, короткими, стремительными шагами сближаясь с ним, видел и серые глаза врага, осумасшедшевшие от азарта атаки, и тусклую

пуговицу немецкого мундира, пониже которой вот-вот должен был с противно мягким, знакомым хрустом войти его штык, и белое, колеблющееся на бегу и кидающее скользящие блики жало штыка видел он в эти секунды... Тотчас же что-то сильно ударило его в спину и по ногам, коротко, как летний гром, прозвучал сзади трескучий разрыв, и он, Звягинцев, падая вниз лицом, в страшном последнем падении, когда уже нет сил, чтобы поднять руку и защитить от удара лицо, — понял, что это — все, конец...

С усилием Звягинцев поднял веки. Сквозь пыль, смешавшуюся со слезами и грязной коркой залепившую глаза, увидел клочок багрово-мутного неба, близко от щеки проплывавшие куда-то мимо причудливые сплетения былинок. Его волоком тащили по траве, очевидно, на плащ-палатке, и к сухому и жесткому шороху травы присоединялось тяжелое, прерывистое дыхание человека, который полз впереди и с трудом, сантиметр за сантиметром, тащил за собой его отяжелевшее, безвольное тело.

Спустя немного Звягинцев почувствовал, как вначале голова его, а затем и туловище сползают куда-то вниз. Он больно ударился плечом обо что-то твердое и снова мгновенно потерял сознание.

Вторично он очнулся, ощутив на лице прикосновение шероховатой маленькой руки. Влажной марлей ему осторожно прочистили рот и глаза, и он на миг увидел маленькую женскую руку и голубую пульсирующую жилку у белого запястья, затем к губам его приставили теплое, металлически пресное на вкус горлышко алюминиевой фляжки. Обжигая нёбо и гортань, тоненькой струйкой потекла водка. Он глотал ее мелкими, судорожно укороченными глотками, и уже после того, как фляжку мягко отняли от его губ, он еще раза три глотнул впустую, как теленок, которого оттолкнули от вымени, облизал пересохшие губы, открыл глаза.

Над ним склонилось бледное, даже под густым загаром веснушчатое лицо незнакомой девушки в вылинявшей пилотке, прикрывавшей спутанную копну огненно-рыжих кудрей. Лицо было явно дурненькое, простое, неказистое лицо курносой русской девушки, но такая глубокая сердечная ласка и тревога проглядывали в огрубевших чертах этого лица, такой извечной женской теплотой и состраданием светились девичьи серые, нестрогие глаза, что Звягинцеву показалось, что эти глаза так же нужны, хороши и необходимы, как сама жизнь, как раскинувшееся над ним бескрайнее голубое небо с грядой перистых тучек в вышине.

От радости, что жив и не покинут своими, от признательности, которую он не мог да, пожалуй, и не сумел бы выразить словами незнакомой девушке — санитарке чужой роты, у него коротко и сладко защемило сердце, и он чуть слышно прошептал:

— Сестрица... родная... откуда же ты взялась?

Водка подкрепила Звягинцева. Блаженное тепло разлилось по его телу, на лбу мелким бисером выступила испарина, и даже боль в ранах будто бы занемела, утратив недавнюю злую остроту.

— Ты бы мне еще водочки, сестрица... — уже чуть громче сказал он, втайне удивляясь своему ребячески тонкому и слабому голосу.

— Какая там водочка! Нельзя тебе больше, никак нельзя, миленький! Пришел в себя — и хорошо. Огонь-то какой они ведут, ужас! Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до медсанроты, — жалобно сказала девушка.

Звягинцев слегка отвел в сторону левую руку, затем правую, странно непослушными пальцами ощупал под боком нагретую солнцем накладку и ствол винтовки, безуспешно по-

пробовал пошевелить ногами и, стиснув от боли зубы, спросил:

— Слушай... куда меня поранило?

— Всего тебя... всему досталось!

— Ноги... ноги-то хоть целы или как? — глухо спросил уже готовый в душе ко всему самому худшему, но ни с чем не смирившийся Звягинцев.

— Целы, целы, миленький, только продырявлены немного. Ты не беспокойся и не разговаривай, вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует, лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь, и все будет в порядочке. Война любит порядочек...

Не все из того, что сказала она, дошло до Звягинцева.

— Всего, значит, испятнили? — переспросил он и, помолчав немного, горестно шепнул: — Сказала тоже... Какой же это порядочек?

Они лежали в глубокой воронке, на жестких грудах откуда-то из первородных глубин исторгнутой взрывом глинистой земли. С низким нарастающим воем над ними прошелестела мина, и Звягинцев, ко всему, кроме своей боли, равнодушный, но все же краем глаза наблюдавший за девушкой, увидел, как она в ожидании близкого разрыва припала к земле, сжалась в комочек, зажмурилась и детским, трогательным в своей наивности движением закрыла грязной ладошкой глаза.

За короткие минуты просветления, вспышками озарявшего сознание, Звягинцев пока еще не успел по-настоящему осмыслить всей бед-

ственности своего положения, не успел пожалеть себя, а девушку пожалел, сокрушенно думая: «Дите, совсем дите! Ей бы дома с книжками в десятый класс бегать, всякую алгебру с арифметикой учить, а она тут под невыносимым огнем страсть терпит, надрывает животишко, таская нашего брата...»

Огонь как будто стал утихать, и чем реже гремели взрывы, мощными голосами будившие Звягинцева к жизни, тем слабее становился он и тем сильнее охватывало его темное, нехорошее спокойствие, бездумность смертного забытья...

Девушка наклонилась над ним, заглянула в его одичавшие от боли, уже почти потусторонние глаза и, словно отвечая на немую жалобу, застывшую в глазах, в горьких складках возле рта, требовательно и испуганно воскликнула:

— Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше, тут уже недалеко осталось! Слышишь, ты?!

С величайшим трудом она вытащила его из воронки. Он очнулся, попытался помочь, подтягиваясь на руках, цепляясь пальцами за сухую, колючую траву, но боль стала совершенно нестерпимой, и он прижался мокрой от слез щекой к мокрой от крови плащ-палатке и стал жевать зубами рукав гимнастерки, чтобы не оказать перед девушкой своей мужской слабости, чтобы не закричать от боли, которая, казалось, рвет на части его обескровленное и все же жестоко страдающее тело.

В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной занемевшей руки угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожиданно проговорила плачущим голосом:

— Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе, миленький, верных шесть пудов!

Звягинцев разжал зубы, прохрипел:

— Девяносто три...

— Что — девяносто три? Чего это ты? — спросила девушка, шумно дыша.

— Килограммов столько во мне было... до войны. Теперь меньше, — помолчав и прислушиваясь к бурному дыханию санитарки, сказал Звягинцев.

Ему почему-то снова стало жаль эту небольшую, выбивавшуюся из последних сил девушку, и он сначала отвлеченно подумал: «Вот и моя Наташка лет через шесть такая же будет: дурненькая с лица, а сердцем ласковая...» — а потом, напрасно стараясь придать своему голосу твердость и привычную мужскую властность, с передышками проговорил:

— Ты вот что, дочка... ты брось меня, не мучайся... Я сам... Вот полежу малость и сам попробую... Руки целы — долезу как-нибудь!

— Вот еще глупости какие! И к чему вы, мужчины, всегда всякую ерунду говорите? — сердитым шепотом сказала девушка. — Куда ты годен? Ну куда? Это я только так, устала немного, а как только отдохну — снова тронемся. Я еще и не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен! У меня всякие случаи бывали, даже похлестче этого! Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная...

Она еще что-то говорила бодрящее и немножко хвастливое, но Звягинцев, как ни старался, слов уже не различал. Милый девичий голос стал глохнуть, удаляться и, наконец, исчез. Звягинцев снова впал в беспамятство.

Пришел в себя он уже много часов спустя на левой стороне Дона в медсанбате. Он лежал на носилках и первое, что почувствовал, — острый запах лекарств, спирта, а затем увидел низкий зеленый купол просторной палатки, людей в белых ха-

латах, мягко двигающихся по застланному брезентом земляному полу.

«До трех раз память мне отбивало, а все-таки живой... Значит, выживу, значит, погодим пока помирать», — с растущей надеждой подумал Звягинцев.

Ему почему-то трудно было дышать, и он с опаской, медленно поднес ко рту черную от грязи руку, сплюнул. Слюна была белая. Ни единого розового пузырька на ладони. И Звягинцев повеселел и окончательно убедился в том, что теперь, пожалуй, все для него сойдет благополучно. «Легкие целые, по всему видать, а если через спину какой осколок в печенки попал, — его доктора щипцами вытянут. У них тут небось разного шанцевого инструмента в достатке. Главное — как с ногами? Тронуло кости или нет? Буду ходить или — калека?» — думал он, еще раз внимательно и придирчиво разглядывая слюну на большущей, одубевшей от мозолей ладони.

Рядом с ним два санитара раздевали раненого красноармейца. Один поддерживал раненого под руки, второй, бережно касаясь толстыми пальцами, осторожно распарывал ножницами по шву залитые бурыми подтеками штаны, и, когда на пол бесформенной грудой сползли жесткие, как брезент, покоробившиеся от засохшей крови защитные штаны и бязевые кальсоны, насквозь пропыленные и по цвету почти не отличавшиеся от верхней одежды, Звягинцев увидел на правой ноге красноармейца чуть пониже бедра огромную рваную рану, уродливо выпиравшую из красного месива, ослепительно белую, расколотую кость.

Красноармеец, чем-то неуловимо напоминавший Стрельцова, немолодой мужчина с тронутыми сединой усами над ввалившимся ртом и острыми, одетыми голубоватой бледностью скулами, держался мужественно, не проронил ни одного слова и все время смотрел в одну точку отрешенным, нездешним взглядом, но Звягинцев глянул на его левую ногу, беспомощно полусогнутую в колене, худую и волосатую, дрожавшую мелкой лихорадочной дрожью, и, не в силах больше смотреть на чужое страдание, отвернулся, проворно закрыл глаза.

«Этот парень отходил свое. Оттяпают ему доктора ножку, оттяпают, как пить дать, а я еще похожу. Не может быть, чтобы и у меня ноги были перебитые?» — в тоскливом ожидании думал Звягинцев.

В это время пожилой лысый санитар в очках подошел к нему, наметанным глазом скользнул по ногам и, нагнувшись, хотел разрезать голенище сапога, но Звягинцев, молчаливо следивший за ним напряженным и острым взглядом, собрал все силы, тихо, но решительно сказал:

— Штаны пори, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару? Подошва спиртовая, и вытяжки настоящие, говяжьи. Это, брат, не кирзовый товар, это понимать надо... Я и так богом обиженный: шинель-то и вещевой мешок в окопе остались... Так что сапог не касайся, понятно?

— Ты мне не указывай, — равнодушно сказал санитар, примеряясь, как бы половчее полоснуть вдоль шва ножом.

— То есть как это — не указывай? Сапоги-то мои? — возмутился Звягинцев.

Санитар слегка распрямил спину, все так же равнодушно сказал:

— Ну и что, как твои? Бывшие твои, и не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать?

— Слушай ты, чудак, тяни... тяни осторожненько, полегонечку, я стерплю, — приказал Звягинцев, все еще боясь пошевелиться и от мучительного ожидания новой боли

расширенными глазами уставившись в потолок.

Не обращая внимания на его слова, санитар наклонился, ловким движением распорол голенище до самого задника, принялся за второй сапог. Звягинцев еще не успел как следует обдумать, что означают слова «бывшие твои», как уже услышал легкий веселый треск распарываемой дратвы. У него сжалось сердце, захватило дыхание, когда мягко стукнули каблуки его небрежно отброшенных к стенке сапог. И тут он, не выдержав, сказал дрогнувшим от гнева голосом:

— Сука ты плешивая! Черт лысый, поганый! Что же это ты делаешь, паразит?

— Молчи, молчи, сделано уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лечь, — примирительно проговорил санитар.

— Иди ты со своей помощью, откуда родился и даже еще дальше! — задыхаясь от негодования и бессильной злобы, сказал Звягинцев. — Вредитель ты, верблюд облезлый, чума в очках! Что ты с казенными сапогами сделал, сукин сын? А если мне их к осени опять носить придется, что я тогда с поротыми голенищами буду делать? Слезами плакать? Ты понимаешь, что обратно, как ты их ни сшивай, они все равно будут по шву протекать? Стерва ты плешивая, коросточная! Враг народа, вот ты кто есть такой!

Санитар молча и очень осторожно разматывал на ногах Звягинцева мокрые от пота и крови, горячие, дымящиеся портянки; сняв вторую, разогнул сутулую спину и, не тая улыбки под рыжими усами, спросил веселым, чуть хрипловатым фельдфебельским баском:

— Кончил ругаться, Илья Муромец?

Звягинцев ослабел от вспышки гнева. Он лежал молча, чувствуя сильные и частые удары сердца, необоримую тяжесть во всем теле и в то же время ощущая натертыми подошвами ног приятный холодок. Но в нем все же еще нашлись силы, и, не зная, как еще можно уязвить смертельно досадившего ему санитара, он слабым голосом, выбирая слова, проговорил:

— Сухое дерево ты, а не человек! Даже не дерево ты, а гнилой пенек! Ну, есть ли в тебе ум? А еще тоже — пожилой человек, постыдился бы за свои такие поступки! У тебя в хозяйстве до войны небось одна земляная жаба под порогом жила, да и та небось с голоду подыхала... Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах!

Это был, конечно, непорядок: строгая тишина медсанбатовской раздевалки, обычно прерываемая одними лишь стонами и всхлипами, редко нарушалась такой несусветной бранью, но санитар смотрел на заросшее рыжей щетиной, осунувшееся лицо Звягинцева с явным удовольствием и к тому же еще улыбался в усы мягко и беззлобно. За восемь месяцев войны санитар измучился, постарел душой и телом, видя во множестве людские страдания, постарел, но не зачерствел сердцем. Он много видел раненых и умирающих бойцов и командиров, так много, что впору бы и достаточно, но он все же предпочитал эту сыпавшуюся ему на голову ругань безумно расширенным, немигающим глазам пораженных шоком, и теперь вдруг и некстати вспомнил двух своих сыновей, воюющих где-то на Западном фронте, с легким вздохом подумал: «Этот выживет, вон какой ретивый и живучий черт! А как мои ребятишки там? Провались ты пропадом с такой жизнью, глянуть бы хоть одним глазом, как мои там службу скоблят? Живы или, может, вот так же лежат где-нибудь, разделанные на клочки?»

А Звягинцев уже не только жил, но и цеплялся за жизнь руками и зубами; все еще лежа на носилках, смертельно бледный, с закрытыми

опоясанными синевой глазами, он думал, вспоминая свои безвозвратно погибшие сапоги и красноармейца с перебитой ногой, которого только что унесли в операционную: «Эк его, беднягу, садануло! Не иначе крупным осколком. Вся кость наружу вылезла, а он молчит... Молчит, как герой! Его дело, конечно, табак, но я-то должен же выскочить? У меня вон даже пальцы на ногах боль чувствуют. Лишь бы, по докторскому недоразумению, в спешке не отняли ног! А так я еще отлежусь и новоюю... Может, еще и этот немец-минометчик, какой меня сподобил, попадется мне под веселую руку... Ох, не дал бы я ему сразу помереть! Нет, он у меня в руках еще поикал бы несколько минут, пока я к нему смерть бы допустил! А этому парню, ясное дело, отрежут ногу. Ему, конечно, на черта нужны теперь сапоги! Он об них и думать позабыл, а мое дело другое: мне по выздоровлении непременно в часть надо идти, а таких сапог теперь я в жизни не найду, шабаш! И как он скоро, лысая курва, распустил их по швам! Господи боже мой, и таких стервецов в санитары берут! Ему с его хваткой где-нибудь на живодерне работать, а он тут своим же родным бойцам обувку портит...»

История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева, окончательно утвердившегося в мысли, что до смерти ему еще далеко. И до того было ему обидно, что он, добродушный, незлобивый человек, уже голым лежа на операционном столе, на слова осматривавшего его хирурга: «Придется потерпеть немного, браток», — сердито буркнул: «Больше терпел, чего уж тут разговоры разговаривать! Вы по недоглядку чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте, а то ведь на вас только понадейся...» У хирурга было молодое осунувшееся лицо. За стеклами очков в роговой оправе Звягинцев увидел припухшие от бессонных ночей красные веки и внимательные, но бесконечно усталые глаза.

— Ну, раз больше терпел, солдат, то это и вовсе должен вытерпеть, а лишнего не отрежем, не беспокойся, нам твоего не надо, — все так же мягко сказал хирург.

Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, сдвинув брови, наклонившись, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева, располосованную до ноги ягодицу. Кося на нее глазами, стыдясь за свою наготу, Звягинцев страдальчески сморщился, проговорил:

— Господи боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы, голых мужиков не видали, что ли? Ничего во мне особенного такого любопытного нету, и тут, скажем, не Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и я, то же самое, не бык-производитель с этой выставки.

Женщина-врач блеснула глазами, резко сказала:

— Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. И вам, товарищ, лучше помолчать! Лежите и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец!

Она фыркнула и встала вполоборота. А Звягинцев, глядя на ее порозовевшие щеки и округлившиеся, злые, как у кошки, глаза, горестно подумал: «Вот так и свяжись с этими бабами, ты по ней одиночный выстрел, а она по тебе длинную очередь... Но, между прочим, у них тоже нелегкая работенка: день и ночь в говядине нашей ковыряться».

Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим, просительным и мирным, тоном сказал:

— Вы бы, товарищ военный доктор, — за халатом не видно вашего ранга, — спиртку приказали мне во внутренность дать.

Ему ответили молчанием. Тогда Звягинцев умоляюще посмотрел снизу вверх на доктора в очках и тихо,

чтобы не слышала отвернувшаяся в сторону строгая женщина-врач, прошептал:

— Извиняюсь, конечно, за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль, что впору хоть конец завязывать. .

Хирург чуть-чуть улыбнулся, сказал:

— Вот это уже другой разговор! Это мне больше нравится. Подожди немного, осмотрим тебя, а тогда видно будет. Если можно — не возражаю, дам грамм сто фронтовых.

— Тут не фронт, тут от фронта далеко, тут можно и больше при таком страдании выпить, — намекающе сказал Звягинцев и мечтательно прищурил глаза.

Но когда что-то острое вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану возле лопатки, он весь сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным и просительным тоном, а угрожающе и хрипло:

— Но-но, вы полегче... на поворотах!

— Эка, брат, до чего же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку? Сестра, спирту, ваты! Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть, в чем же дело? Характер у тебя скверный или что?

— А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут, извините, не то что зашипишь, а и по-собачьи загавкаешь... с подвывом, — сердито, с долгими паузами проговорил Звягинцев.

— Что, неужто очень больно? Терпеть-то можно?

— Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь... Потому и не вытерпливаю... — сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев, отворачиваясь в сторону, стараясь краем простыни незаметно стереть слезы, катившиеся по щекам.

— Терпи, терпи, гвардеец! Тебе же лучше будет, — успокаивающе проговорил хирург.

— Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали, ну чего вы скупитесь на лекарства? — невнятно прошептал Звягинцев.

Но хирург сказал что-то коротко, властно, и Звягинцев, за время войны привыкший к коротким командам и властному тону, покорно умолк и стал терпеть, иногда погружаясь в тяжкое забытье, но даже и сквозь это забытье испытывал такое ощущение, будто голое тело его ненасытно лижет злое пламя, лижет, добираясь до самых костей...

Чьи-то мягкие, наверное, женские пальцы неотрывно держали его за кисть руки, он все время чувствовал благодатную теплоту этих пальцев, потом ему дали немного водки, а под конец он уже захмелел, и не столько от водки, — не мог же он захмелеть от каких-то там несчастных ста граммов спиртного! — сколько от всего того, что испытал за весь этот на редкость трудный день. Но под конец и боль уже стала какая-то иная, усмиренная, тихая, как бы взнузданная умелыми и умными руками хирурга.

Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела Звягинцева снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже пытался размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали только одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос:

— ...Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут нервы не выдерживают. Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай обратно, на фронт, а тут — не согласен! Сапоги куда дели? Неси сюда, я их под голову положу. Так они будут сохранней... До чужих сапог вас тут много охотников! Нет, ты сначала заслужи их, ты в них походи возле смерти, а изрезать всякий дурак сумеет... Господи боже мой, как мне больно!..

Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал Лопахина,

плакал и скрипел зубами, как в темную воду, окунаясь в беспамятство. А хирург тем временем стоял, вцепившись обеими руками в край белого, будто красным вином залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал... И только когда товарищ его — большой чернобородый доктор, только что закончивший за соседним столом сложную полостную операцию, — стянув с рук мягко всхлипнувшие, мокрые от крови перчатки, негромко сказал: «Ну, как ваш богатырь, Николай Петрович? Выживет?» — молодой хирург очнулся, разжал руки, сжимавшие край стола, привычным жестом поправил очки и таким же деловитым, но немного охрипшим голосом ответил:

— Безусловно. Пока ничего страшного нет. Этот должен не только жить, но и воевать. Черт знает, до чего здоров, знаете ли, даже завидно... Но сейчас отправлять его нельзя: ранка одна у него мне что-то не нравится. Надо немного выждать.

Он замолчал и еще несколько раз качнулся, переступая с носков на каблуки, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, а когда к нему вернулись и сознание и воля, он опять стал лицом к завешанной защитным пологом двери палатки и, глядя такими же, как и полчаса тому назад, внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал:

— Евстигнеев, следующего!

* * *

По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно, с протяжной зевотцей проговорил:

— Пристреливается, паразит! Ну, теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он — такой, он, гад, лишнего кинуть не постесняется...

Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой моста, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет.

Потом пулемет умолк, и в наступившем затишье отчетливей зазвучали иные голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром артиллерийской стрельбы, раскатисто и неумолчно гремевший где-то далеко на востоке, прерывистый рокот самолета — дальнего разведчика, воркователя на недоступной глазу высоте, и ровный басовитый гул множества немецких танков и автомашин, двигавшихся по правому гористому берегу Дона в направлении на станицу Клетскую.

Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы.

Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал:

— Красота-то какая, а?

Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленных глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой, зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые, грозные шумы большого наступления.

Лопахин тоже любил природу — и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни проведший в тяжелом труде под землей. Иногда даже в окопах, в короткие промежутки затишья, он успевал полюбоваться то белым, как лебедь, облаком, величественно про-

плывавшим в задымленном фронтовом небе, то каким-нибудь полевым цветком, доверчиво приютившимся на краю старой воронки и казавшимся рядом с грудами мертвой опаленной земли бессмертным в своей первобытной красоте...

Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад.

Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях товарищи, далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренные угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радовавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев... И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат и эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть, мертвой хваткой бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас? Сейчас он — только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше на восток, все дальше...

Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши, по всему видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить! Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля!»

Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил:

— Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь... Мне проще: я пока за медсанбатом числюсь.

— Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать! — возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит, но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого, напряженного и пытливого выжидания, с досадою умолк, размашисто написал «пустит» и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь внушительного размера, что, казалось, один вид их должен был бы рассеять всякие сомнения Стрельцова.

На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского:

— ...Ужасно умная птица кукушка! До петрова дня она тебе и кукует и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси — как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал: сколько проживу на свете? А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, раздобрилась, паскуда длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: выходит так, что два года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже прекрасно! Мне больше ничего и не надо. За два

тогда должна же война прикончиться? Должна. Ну, а после войны и на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто!

— Ловко у тебя, парень, получается! — восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов. — Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны побоку ее предсказания?

— А ты как хотел? — рассудительно ответил Копытовский. — Мне, милый мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без утешения проживу, своими силами...

Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. На круглом, мясистом лице его расплылась недоумевающая, глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена, громко воскликнул:

— Стрельцов? Вот это номер!..

А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад:

— Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно негусто нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как на частое сито.

О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел подошедших товарищей.

Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивавшуюся голову, на руку, дрожавшую мелкой, старческой дрожью, и, почти с ненавистью воззрившись в пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал:

— Не ори! Все равно он не слышит. Оглох.

— Вовсе не слышит? — еще более удивился Копытовский и снова хлопнул себя по ляжке.

— Не слышит. Дальше что? — медленно багровея, повысил Лопахин голос. — Что ты тут по-своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне, артист нашелся! Он контужен, и нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать! Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом отсвечиваешь...

— Запекли тебе душу мои штаны! — обиженно проговорил Копытовский. — В какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже! И как их станешь латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них осталось-то, от штанов! В целости спереди одна мотня, сзади — хлястик, а все остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься и даже еще хуже... И ниток нету. Нитки теперь с военторговской палаткой, знаешь, где? Небось аж за Саратовом пылят, а ты знай одно долбишь: залатал бы, залатал бы!

Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал:

— Николай, здравствуй!

Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. Заросший мелким черным волосом кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные, хриплые звуки бились и клокотали в горле.

У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда в минуты сильного душевного волнения, у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал:

— Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается! Не гляди на него! Ведь ему

[illegible], понимаешь ты это? Отвернись же, черт рваный!..

Копытовский растерянно пожал плечами.

Я же этого дела не знал... И чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать... Грубый ты, прямо нахальный человек, а еще тоже, на шахте работал, на вечерний рабфак ходил. В тебе культурности — с гулькин нос, вот столечко!

Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по его мнению, было культурности в Лопахине. Но тот не обращал на него никакого внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже слегка порозовел от волнения.

Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как произнес несколько слов приветствия, и тогда Лопахин вытер проступивший на лбу пот, со вздохом облегчения сказал:

— Главное, ему начать трудно, а потом, как разойдется, он говорит подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной оратор на собрании, и тот хуже говорит, даю честное слово!

С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил:

— Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке... Не повинуется... Но врач говорил, что это — временно... Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно... Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели, — и указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота.

Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине.

Та-а-ак, — протяжно сказал он. — Отделали парня на совесть... Окалечили вовсе, вот сволочи, а?

На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем, шиповником, пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от распарившейся после дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых прошлогодних листьев.

На правой стороне Дона гулко громыхнули взрывы, выше прибрежных тополей взметнулись в небо черные, медленно тающие на ветру столбы дыма.

Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро! — ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский.

Еще немного помолчали, а затем Некрасов спросил у Лопахина:

— Как думаешь, на переформировку теперь нас погонят, а?

Лопахин молча пожал плечами.

— Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться, может, где поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, будто видели здесь в лесу начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться нам отсюда, — размеренно говорил Некрасов. — Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим мешаем.

Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой.

— А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти.

— Я уже писал, — сухо ответил Лопахин.

- А он что?

— Остается тут.

-- Это он самовольно притопал?

— А ты думал как?

— Эх, напрасно! Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели.

— Пробовал.

— Ну и что?

— Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны, — многозначительно сказал Лопахин.

— Скажи пожалуйста! — сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время немного иронически взглянув на Стрельцова.

Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на Харьковском направлении, после в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко, может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на него всегда можно было поло-

житься. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости, глаза Некрасова:

— Мы со Стрельцовым так порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, немец... Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да третий — ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?

Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь и не раздумывая, решительно ответил:

— Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали, пущай они горюшка лаптем похлебают, а я не против того, чтобы в тыл сходить. Пока полк переформируют, пока того да сего — я отдохну за мое почтение, хоть отосплюсь за все эти каторжные дни! У меня, понимаешь ты, последнее время даже посторонние вошки завелись. От тоски, что ли?

— От грязи. Купаешься раз в году, — негромко сказал Лопахин, с чрезмерным вниманием рассматривая выпуклые, панцирно-твердые миндалины ногтей на своих расслабленно лежавших на коленях руках.

— Может, и от грязи, — охотно согласился Некрасов. — А купаться, сам знаешь, некогда, не на курортах загораем, да и малярия мне не позволяет. Так вот я в тылу хоть вошек обтрясу маленько, на время в зятья пристану к какой-нибудь бабенке... К самой завалящей пристану, лишь бы у нее в хозяйстве корова была! Эх, и поживу же в свое удовольствие возле горшка со сметаной, покуражусь над варениками с творожком! Отдохну как полагается, а потом... потом и обратно можно на фронт, не возражаю...

Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул:

— Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!

— Чудак не я, а баран: он до покрова матку сосет, и глаза у него круглые... А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке...

— Ну, тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже... — проговорил Лопахин раздельно и с той зловещей сдержанностью, которая всегда у него предшествовала вспышке гнева.

— Какой есть, теперь не переделаешь, поздновато, — с легким выдохом ответил Некрасов. — И ничего тут чудного нету. Мне один парень из этой дивизии, какая оборону заняла, рассказывал: формировались они в городе Вольске, и там присватался он к одной гражданочке, а у той гражданочки муж ушел в армию, а в хозяйстве три дойные козы остались. Так, говорит, не житье ему было, а сплошная масленица! С того ли козьего молока или с какой другой причины, но только за месяц поправился он на шесть килограммов. Вот это я понимаю, оторвал парень! Все равно, как на курорте!

— Да ты, никак, вовсе очумел, — злобно сказал Лопахин. — Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?

— Не глухой пока, слышу.

— Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе?

Лопахина прорвало, и он выругался, не переводя дыхания, так длинно и с такими непотребными

и диковинными оборотами речи, что Некрасов, не дослушав до конца, вдруг блаженно заулыбался, закрыл глаза и склонил на правое плечо голову, словно упиваясь звуками сладчайшей музыки.

— Ах, язви тебя! До чего же ты складно выражаешься! — с восхищением, с нескрываемым восторгом сказал он, когда Лопахин, облегчившись, с силой втянул в себя воздух.

Недавнюю сонливую усталость с Некрасова будто рукой сняло, и он торопливо заговорил, изредка с улыбкой поглядывая на Лопахина:

— Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в сорок первом году младший политрук Астахов был мастер на такие слова, до чего красноречив был, а все-таки куда ему до тебя! И близко не родня! Не удавались ему, покойничку, кое-какие коленца, не вытанцовывались они у него. А красноречив был, словоохотлив — спасу нет! Бывало, подымает нас в атаку, а мы лежим. И вот он повернется на бок, кричит: «Товарищи, вперед на проклятого врага! Бей фашистских гадов!» Мы обратно лежим, потому что фрицы такой огонь ведут, — ну не продыхнешь! Они же знают, стервы, что не мы, а смерть ихняя в ста саженях от них лежит, они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься... И тут Астахов подползет ко мне или к какому другому бойцу, даже зубами заскрипит от злости: «Вставать думаешь или корни в землю пустил? Ты человек или сахарная свекла?» Да лежачи как ахнет по всем этажам и пристройкам! А голос у него был представительный, басовитый такой, с раскатцем... Тут уж вскакиваем мы, и тогда фрицам солоно приходится, как доберемся — мясо из них делаем!.. У Астахова всегда был при себе полный набор самых разных слов. И вот прослушаешь такое его художественное выступление, лежачи в грязи, под огнем, а потом мурашки у тебя по спине по-блошиному запрыгают, вскочишь и, словно ты только что четыреста грамм водки выпил, — бежишь к фрицевой траншее, не бежишь, учти, а на крыльях летишь! Ни холоду не сознаешь, ни страху, все позади осталось! А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: «Бей, ребята, так их и разэтак!» Ну как было с таким политруком не воевать? Он сам очень даже отлично в бою действовал и штыком и гранатой, а выражался еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался! Речь начнет говорить, захочет — всю роту до слезы доведет жалостным словом, захочет дух поднять — и все на животах от смеха ползают. Ужасный красноречивый был человек!

— Постой-ка, при чем тут красноречие? — попытался прервать Некрасова озадаченный Лопахин, но тот, увлеченный воспоминаниями, досадливо отмахнулся:

— Не перебивай, слушай дальше! Этого Астахова, ежели хочешь знать, все нации понимали и уважали, вот какой он был человек! Даром, что не кадровый, не шибко грамотный и из себя пожилой, а боевой был ужасный! Он еще за гражданскую войну орден Красного Знамени имел, так-то, браток! Но и любили же в роте этого Астахова — страсть! За смелость любили, за его душевность к бойцам, а главное — за откровенное красноречие. Когда похоронили его возле села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те плакали, как малые дети. Все нации, какие в роте были, не говоря уже про нас, русских, подряд плакали и каждый на своем языке об нем сожалел. А ты, Лопахин, говоришь — при чем, дескать, тут красноречие. Нет, браток, красноречие при человеке — великое дело. И нужное слово, ежели оно вовремя сказано, всегда дорогу к сердцу найдет, я так понимаю.

Совершенно сбитый с толку, Лопахин слушал товарища, изумленно пожимая плечами, изредка поглядывая

вая в недоумении то на Копытовского, то на дремавшего Стрельцова, и на лице его явно отражалось так несвойственное ему выражение растерянности. Он никак не предполагал, что его ругательство произведет такое впечатление, и не ожидал столь восторженного восприятия от Некрасова, который всегда казался ему человеком черствым и равнодушным к яркому слову.

Некрасов все еще задумчиво и мягко улыбался, погруженный в воспоминания, а Лопахин, растерянно потирая щеку с въевшейся в поры угольной пылью, уже говорил:

— Послушай, дружище, да не об этом разговор! Дело не в красноречии, ну его к черту с красноречием, дело в том, что немец уже миновал нас и, как видно, на Волгу режет. А там — Сталинград... Тебе это понятно?

— Очень даже понятно. Это он непременно туда, сволочь, нацеливается. Это он, паразит, туда хочет рвануть.

— Ну вот! А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол в зятья сейчас устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на сырой земле спал...

— А ты — на перине? Все нынче на сырой земле спали.

— А вот только тебе одному в голову ударило — жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости...

— От какой там, к бесу, сырости! — с досадой сказал Некрасов. — Оттого, что сильно устал я за год войны, вот отчего, ежели хочешь знать. Да что, на мне свет клином сошелся? Желательно тебе — оставайся, а меня нечего агитировать, я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой, ну, и мокро мы двое наделаем? Фронт удержим? Как бы не так! Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду тревою. — Некрасов похлопал по скатке широкой ладонью, тусклые глаза его неожиданно оживились и заблестели светло и жестко. — Имею я право на отдых или нет?

— Когда как, — уклончиво ответил Лопахин.

— Нет, ты не виляй, ты говори!

— Сейчас — нет.

Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасова прямым, немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за разговором.

— Ага! Сейчас — нет? А когда же? После первого ранения я и опомниться не успел, как из медсанбата сразу же попал в часть, после второго уже в тылу прохожу гарнизонную комиссию, ну, думаю, теперь-то уж наверняка на недельку домой пустят. Как бы не так! Беса лысого пустили! С пересыльного обратно загремел на фронт. После третьего ранения отлежался в армейском госпитале — и снова в часть. Так и катаюсь круглый год на этой бесплатной карусели... До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года мои, учти, не молоденькие.

— Воевать, значит, устарел, а жениться — самое в пору?

— Да разве я к бабе думаю пристать от молодой прыти? От нужды, глупый ты человек! Мне эта проклятая пшенная каша из концентратов все печенки-селезенки переела! — с еще большей досадой вскричал Некрасов. — А тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает.

— Воевать, значит, здоровья не хватает, а в зятья идти — как раз? — снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом.

Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. А Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина, сказал:

— Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь, под названием рак желудка...

Лопахин ехидно сощурился.

— Уж не у тебя ли рак?

— У меня его нету, а вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь! Ну разве можно с тобой говорить как с человеком? Всегда ты с разными подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками... Желудочный рак ты на двух ногах, а не человек!

— Обо мне можно не говорить, не стоит, давай лучше о тебе. Чем же твое здоровье пошатнулось? На что жалуешься, бравый ефрейтор?

— Отвяжись, ну тебя к черту!

— Нет, на самом деле, что у тебя со здоровьем?

— Ты же не доктор, чего я тебе буду рассказывать? — видимо колеблясь, нерешительно проговорил Некрасов.

Лопахин сделал аккуратную крученку, передал кисет Некрасову и, случайно глянув на него, тихо ужаснулся: Некрасов оторвал от газеты лист в добрую четверть длиной, щедро насыпал табаку и уже сворачивал толстенную папиросу.

— Постой! — испуганно воскликнул Лопахин, хватаясь за кисет. — Этак не пойдет! Что же ты заделываешь ее такую чрезвычайную, в палец толщиной? У меня своей табачной фабрики в вещевом мешке не имеется. Отсыпай половину!

— А я тонкие из чужого табаку курить не умею, — спокойно сказал Некрасов.

— Так давай я тебе сверну, слышишь?

— Нет-нет, не тронь, а то рассыпешь, я сам. — Некрасов торопливо отвел руки в сторону и стал старательно слюнить шероховатый край листка, исподлобья, искоса поглядывая на Лопахина.

— Действительно, силен ты на чужбинку сигары вертеть... — Лопахин огорченно крякнул и покачал головой, разглядывая и взвешивая на руке сразу отощавший кисет.

— Из своего я делаю малость потоньше, — все с тем же невозмутимым спокойствием сказал Некрасов и потянулся за огоньком.

Они прикурили от одной спички. Помолчали, поглядывая друг на друга с явным недружелюбием.

Стрельцов в начале разговора внимательно следил за меняющимся выражением лиц Лопахина и Некрасова, но вскоре ему это наскучило. Он положил под голову свернутую плащ-палатку, прилег, чувствуя знакомую нездоровую усталость во всем теле, подкатывающую к горлу тошноту. Он знал, как длительны бывают солдатские разговоры в часы вынужденного безделья, и хотел уснуть, но сон не приходил. В ушах звенело тонко и неумолчно, ломило виски. Глухая, мертвая немота простиралась вокруг, и от этого все окружающее казалось нереальным, почти призрачным.

Стрельцов все еще никак не мог освоиться со своим новым состоянием, не мог привыкнуть к внезапной потере слуха. Он видел, как молча шевелились над его головой плотные, до глянца омытые ночным дождем листья, как над кустом шиповника беззвучно роились шмели и дикие пчелы, и, может быть, потому, что все это проходило перед глазами лишенное живого разноголосого звучания, — у него слегка закружилась голова, и он закрыл глаза и стал привычно думать о прошлом, о той мирной жизни, которая так внезапно оборвалась 22 июня прошлого года... Но как только он вспомнил детей, тревога за их судьбу, не покидавшая его в последнее время, снова сжала сердце, и он вдруг неожиданно для самого себя протяжно застонал и испуганно открыл глаза.

Лопахин по-прежнему сидел чуть сгорбившись, положив на острые углы коленей широкие, литые кисти рук, но в лице его уже не было недавней озлобленности скрытого на-

ражения. Светлые, бесстрашные глаза его лукаво и насмешливо щурились, в углах тонких губ таилась улыбка.

Стрельцову было знакомо это выражение лопахинского лица, и он невольно улыбнулся, подумал: «Наверное, этого тюленя, Некрасова, разыгрывает».

Вскоре Стрельцов забылся тяжелым, безрадостным сном, но и во сне запрокинутая голова его судорожно подергивалась, а сложенные на груди руки тряслись мелкой, лихорадочной дрожью.

Некрасов долго смотрел на него, молча глотал табачный дым, трудно двигая кадыком, потом бросил под ноги обжигавший пальцы окурок, сказал:

— Какой же из него боец будет? Горькое горе, а не боец! Погляди, как его контузия трясет, он и автомата в руках не удержит, а ты его сманиваешь оставаться на передовой. Прыти у тебя много, Лопахин, а ума меньше...

— Ты за других не говори, ты лучше про свою тайную болезнь расскажи, — усмехнулся Лопахин и выжидающе посмотрел в загорелое, с шелушащимися скулами лицо Некрасова.

— Смеяться тут не над чем, — обиженно сказал Некрасов, — тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что.

— Первый раз слышу! Это что же такое за штука? — с искренним изумлением спросил Лопахин. — Что-нибудь такое... этакое?..

Некрасов досадно поморщился.

— Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.

— Моз-го-вая? — разочарованно протянул Лопахин. — Чепуха! У тебя такой болезни быть не может, не на чем ей обосноваться, почвы для нее нет... почвы!

— Какая она из себя? Говори, чего тянешь! — нетерпеливо прервал снедаемый любопытством Копытовский.

Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых, изношенных кирзовых сапог, потом нехотя заговорил:

— Видишь, как оно получилось... Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота, бриться, мыться и другой порядок наблюдать за собой — то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой — просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратности себя содержать, а даже как-то притерпелся и, почитай, два месяца бельишка не менял и не умывался как следует. Один бес, думаю, пропадать — что умытому, что неумытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во сне, хожу, как испорченный... Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне грозил, и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют! Как есть одичал я, товарищей сторонюсь, сам себя не угадываю, и ничевошеньки-то мне не жалко: ни товарищей, ни друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопахин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке? Ну, так вот тогда первый раз со мной это дело случилось... Полроты в одной избе набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали — сил нет! Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке и, чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку... А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет девяносто или сто было,

она от старости уже вся мохом взялась...

Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами одним налитым слезою глазом и молча трясся от сдерживаемого смеха.

Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак, сказал:

— Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут, кроме одного дурака, все понятливые.

Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота, потом притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал:

— Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила... Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, спросонок да с испугу, конечно, разволновалась и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?» А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех и грех, ей-богу! Ну, тут, как она меня валенком по носу достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то, не ровен час, они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я спросонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь, — говорю, — бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми!» С тем и слез с приступка, со сна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. «Мать честная, — думаю, — что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими насмешками!» Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор-связист, — это он проснулся, фонарик засветил, строго спрашивает: «Ты чего? В чем дело?» Я ему по форме доложил, как мне поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: «Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте. Дверь — направо, ступай, только смотри, куда-нибудь на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь».

По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут, — сразу понимаю, что и к чему, а по собственной нужде проснусь — непременно начинаю чудить...

На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это подумать только — в печь! Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал бы... Чуть не задушился там. Куда ни сунусь — нету выхода, да и шабаш! А задний ход дать — не соображаю, уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет... «Ну, — думаю, — вот она и смерть моя пришла, не иначе снарядом завалило». Был у меня такой случай, завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда вскорости не отрыли, — теперь бы

уж одуванчики на моих костях росли... И вот скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: «Товарищи, дорогие! Живой кто остался? Давайте откапываться своими силами!» Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками — лопатки на поясе при мне нету. «Всем остальным ребятам, — думаю, — как видно, концы, а один я не откопаюсь голыми руками». Ну, тут я, признаться, заплакал... «Вот, — думаю, — какой неважной смертью второй раз помирать приходится, провались ты пропадом и с войной такой!» Только слышу: кто-то за ноги меня тянет. Оказался это старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю. Стал на ноги и обрадовался страшно! Обнимаю его, благодарю. «Спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся!» Старшина спросонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: «Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда смекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: «Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят, — встречаю первый раз. Ты же видел, — говорит, — что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров на загон наложила, за каким же ты дьяволом туда лез?»

Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и слушать не желает, почесался немного, позевал и медленно так на своем сладком украинском языке говорит: «Брешешь, вражий сын! Завтра получишь два наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще два наряда — за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и на грош нету!..»

Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке:

— До чего же правильно решил старшина! Это же не старшина, а просто Верховный суд!

Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал:

— И какие средства я ни пробовал, чтобы по ночам не просыпаться, — ничего не помогает! Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял — один бес! Перед рассветом вскакиваю, как по команде «смирно», — и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью... Проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь думаю: «Натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды». Встал, пошарил руками — дерево. А того невдомек, что мы с Майбородой под тополем спали... Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это — стенка, а сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По печаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Майбороде на голову... Эх, и шуму же он наделал — страсть! Вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается — муха не пролетит! «Ты, — говорит, — псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так, по крайней мере, не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу! Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко!»

А того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него

не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и, перед тем как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: «Вот какая она, судьба-сука: хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой...» Ну тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему: «Иди, пожалуйста, не воняй тут! Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил, надо бы обеими, да с разбегу...» Он ко мне — с кулаками. А парень он здоровый, и силища при нем бычиная. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько отступил и кричу ему издалека: «Не подходи близко, а то я тебя очередью так и смою с лица земли! Я из тебя сразу Январь-Бороду сделаю!» За малым до рукопашной у нас не дошло...

— Слыхал я ночью, как вы любезничали, — сказал Лопахин, — только к чему ты все это ведешь, в толк не возьму.

— Все к тому же — отдых мне требуется.

— А другим как же?

— Про других не знаю. Может, я не такой железный, как другие, — уныло проговорил Некрасов.

Он сидел, широко расставив ноги в белесых, ошарпанных о степной бурьян сапогах, и все так же чертил тоненькой веточкой на песке незамысловатые узоры, не поднимал опущенной головы.

Где-то левее, за лесом, в безоблачной синеве, казавшейся отсюда, с земли, густой и осязаемо плотной, шел скоротечный воздушный бой. Никто из сидевших на поляне не видел самолетов, только слышно было, как скрещивались там, вверху, по-особому звучные, короткие и длинные пулеметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ударами пушек.

Из общего разноголосого и смешанного воя моторов на несколько секунд выделился голос одного истребителя: вначале пронзительный и тонкий, он, словно бы утолщаясь, перешел в низкий, басовый и гневный рев, а затем внезапно смолк. Слышались лишь далекие, неровные, стреляющие звуки выхлопов да вибрирующее тугое потрескивание, как будто вдали рвали на части полотно.

Снова в небе неожиданно возникла косая, удлиняющаяся черная полоска дыма и впереди нее — стремительно и неотвратимо летящая к земле, тускло поблескивающая на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнувший удар...

Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепотом:

— Один готов... Мама родная, хоть бы не наш! У меня и под ложечкой сосет и во рту становится солоно, когда наш вот так, на виду падает...

Он помолчал немного и, когда первая острота впечатления несколько притупилась, подозрительно скосился на Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным голосом спросил:

— Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не того... не заразная она? А то возле тебя так с проста ума посидишь, а потом, может, тоже начнешь лазить по ночам куда не следует?

Некрасов поморщился, сказал презрительно и желчно:

— Дурак!

— Интересно, почему же это я дурак? — несказанно удивился Копытовский.

— Да потому, что при твоем здоровье к тебе даже сибирская язва не пристанет, не то что какая-нибудь умственная болезнь.

Очевидно польщенный, Копытовский молодецки выпятил массивную грудь, горделиво сказал:

— Здоровье мое подходящее, это ты правду говоришь.

Вот вам, какие молодые и при здоровье, и можно воевать без роздыху, а мне невозможно, — грустно сказал Некрасов. — Года мои не те, да и дома желательно бы побывать... У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя... Позабыл то есть, какие они обличьем... Глаза ихние смутно так представляю, а все остальное — как сквозь туман... Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь, хочу ясно их вспомнить, — нет, не получается! Даже потом меня прошибет, а все равно не могу их точно вообразить, да и шабаш! Главное, старшенькую, Машутку, и ту толком не вспомню, а ведь ей пятнадцатый годок... Смышленая такая, первой отличницей в школе училась...

Некрасов говорил все глуше, невнятнее. Последние слова он произнес с легкой дрожью в хриплом голосе — и умолк, сломал прутик, который все время вертел в руках, и вдруг поднял на Лопахина влажно заблестевшие глаза и сквозь слезы — скупые мужские слезы — неловко улыбнулся:

— Про жену я уже не говорю... Это дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь... А только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышками пахнет...

Бледный, едва владеющий собой Лопахин смотрел на Некрасова помутневшими от гнева глазами, молча слушал, а потом неожиданно тихим, придушенным голосом спросил:

— Ты откуда родом, Некрасов? Курский?

И так же тихо, слегка покашливая, Некрасов ответил:

— Был курский. Из-под Лебедяни.

Лопахин с силою сцепил пальцы и по-прежнему, не сводя глаз с раскисшего лица Некрасова, глухо заговорил:

— Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец! Очень жалостно! Что и говорить, любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, над его семьей измываются, а он, видишь ты, в зятья думает пристать, в тылу ему желательно прохлаждаться: нашел самое подходящее время... Что ж, отдыхай, наедай шею, развлекайся с чужой бабой, а на твоей жене немцы пусть землю пашут. А дети твои пусть с голоду подыхают, как бездомные щенки... Порядочек! А еще говоришь, что позабыл, какие они из себя, твои дети. Нехитро забыть, если вся забота только о своей шкуре. Да ты морду не вороти, слушай! Говоришь, дома желательно побывать, а как же ты думаешь побывать там? На ногах войдешь по чести-совести, как солдат, или, может быть, — на пузе, к немцу в плен? А потом к своему порогу приползешь, хвостом повиляешь, семью обрадуешь: вот, мол, уморился воевать ваш герой, теперь думаю перед фрицем на задних лапках стоять и служить ему верой-правдой, так, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Иди отсюда, жабья слизь, не доводи меня до греха!

Лопахин говорил, с каждой минутой все более ожесточаясь сердцем, и наконец умолк, выдохнув воздух с такой силой, словно в груди у него был кузнечный мех.

— Да, ты ступай, пожалуй, Некрасов, а то как бы он тебя по нечаянности не того... не стукнул, — посоветовал Копытовский, не на шутку встревоженный еще не виданной им грозной сдержанностью Лопахина.

Некрасов не пошевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в голубые лопахинские глаза, блестевшие тусклым, стальным блеском, а потом отвел взгляд, и как-то сразу сероватая бледность покрыла его щеки и подбородок, и даже на шелушащихся от загара скулах проступила мертвенная, нехорошая синева.

Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не выдержал и, все еще часто и хрипло дыша, обратился к Копытовскому.

— Ну, а ты, Сашка, как? Остаешься?

Копытовский с треском оторвал косой листок на самокрутку, сердито вздернул русую бровь:

— Вот еще вопрос, даже странно слышать! Что же, мы с тобой наше ружье пополам переломим, что ли? Ты остаешься — и я остаюсь. Мы же с тобой, как рыба с водой... Будем вместе дуться до победного конца. А бросить тебя я не могу, ты без меня с тоски подохнешь: ругать-то некого будет! Я терпеливый, а другой может и не смолчать тебе, — на какого нарвешься.

У Лопахина потеплели глаза и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса глянул на своего второго номера.

— Это правильно,— одобрительно сказал он.— Это по-товарищески. Что ж, побудь, дорогой мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству, что остаемся, не крадучись же делать такое дело.

Вскоре его догнал Некрасов, окликнул.

— Ну, чего еще тебе, теткин зять? — не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин.

Поравнявшись, Некрасов несвязно забормотал:

— Порешил... так что и я... порешил остаться с вами, эко дело! Опамятовался! С устатку да со зла чего только не придумаешь, с дурна ума чего не наговоришь... А ты, Лопахин, не всяко лыко в строку... Вместе-то сколько протопали, не чужой же я, в самом деле... Серчать тут особенно нечего. Петя, слышишь? Что ж, угости, давай закурим мировую?

Отходчиво оказалось сердце Лопахина к своему человеку... Он застопорил шаг и, на ходу доставая кисет, уже несколько смягчившимся голосом буркнул:

— Тебя, дуру, прикладом бы угостить надо! Плетет черт знает что, а ты его уговаривай, умасливай да последние несчастные нервы с ним трепи... На, да не забывай, что из чужого табаку надо крутить потоньше.

— Клянусь, не умею делать тонких! — воскликнул повеселевший Некрасов.

Лопахин остановился, свернул крохотную папироску, молча сунул в руку Некрасова. Тот бережно взял ее негнущимися черными пальцами, критически осмотрел со всех сторон и, вздохнув, так же молча стал прикуривать.

* * *

Они пришли к землянке старшины как раз вовремя: у входа — вытянувшись, руки по швам, — стоял станковый пулеметчик Василий Хмыз, а старшина Поприщенко, свирепо сверкая опухшими, красными от бессонницы глазками, отчитывал его:

— И что это за герои пошли! Ни устава не хотят признавать, ни дисциплины, об военной службе и понятия не имеют, действуют, как детишки на ярмарке: чего ихняя душенька захочет, — вынь да положь им, хоть роди! Да ты знаешь, что солдат и кашу есть и помирать должен только по приказу начальства, а не тогда, когда ему самому вздумается?

Он помолчал немного, пронзительно глядя в красивое худое лицо пулеметчика, и сразу повысил голос:

— Расхристались! Все вам можно! Ну, с чем ты пришел до меня, злодий? Что у меня — воинская часть или плотницкая артель? Ты в

армию на поденную работу нанимался, что ли? И какое я имею право отпустить тебя в другую часть, ну какое? Нынче ты уйдешь, завтра — другой, и так и далее, а потом что же получится, спрашиваю тебя? Останусь я один, — и один явлюсь к командиру дивизии? Вот, мол, товарищ полковник, видали вы старого дурня? Честь имею явиться, — старшина Поприщенко. Были в полку уцелевшие от боев люди, да я их всех пораспускал по свиту, как та плохая квочка, какая без цыплят домой одна приходит... Сымите с меня высокое звание старшины и прикажите повесить меня на самом поганом суку; я очень даже заслужил себе эти качели... Так, что ли, Василий Хмыз? Такой чести ты для моей солдатской старости хочешь? А этого ты не нюхал, чертов байстрюк?

Старшина сложил из обкуренных, коричневых пальцев дулю, некоторое время подержал ее на весу возле тонкого, с горбинкой носа пулеметчика, потом, опустив руку, значительно сказал:

— Если ты с дурной головы вздумаешь уйти самовольно, — считаю тебя дезертиром, так и знай! И отвечать перед трибуналом будешь как за дезертирство! Ступай к чертовой маме, и чтобы больше ко мне с такими глупостями не являлся!

— Есть, товарищ старшина, больше к вам с такими глупостями не являться, — подчеркнуто официально повторил Хмыз и, нахмурив девичьи тонкие, черные брови, повернулся налево кругом, мягко стукнул стоптанными каблуками.

Старшина проводил его стройную, щеголевато подтянутую фигуру долгим взглядом, широко развел руками.

— Видали, какие умники пошли? — проговорил он, часто мигая слезящимися глазками и негодующе раздувая рыжие, с густою проседью усы. — Четвертый за утро приходит — и все с одной и той же песней! Четвертый! Не желают они в тыл идти, желают тут оставаться... Да я, может, сам нисколько не желаю в тыл, а приказ я выполнять должен?! — вдруг выкрикнул он высоким сиплым фальцетом, но, справившись с волнением, продолжал уже более спокойно: — Только что видел майора — командира тридцать четвертого полка. Он приказал немедленно отправляться в хутор Таловский, там штаб нашей дивизии. Осмелился у него спросить: как же с нами будет? Он говорит: «Не беспокойся, старик, раз сохранили боевую святыню — знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут, и опять двинем на фронт, на самый важный участок!» — Старшина торжественно поднял указательный палец, повторил: — На самый важный, это как, понятно вам? Потому, говорит майор, что дивизия наша кадровая, все виды видавшая и очень стойкая. А такая дивизия, хотя она и сильно потрепанная, без дела долго не застоится. Так майор сказал, а тут приходят разные байстрюки, голову мне своим детским геройством морочат... Они хотят свою родную часть кинуть и болтаться на фронте, как ковях в проруби. Да где это видано такое, чтобы из части в часть по своему усмотрению бегать? А спрошу я вас, откуда Васька Хмыз, щенок такой молокососный, может знать, где есть самый важный участок? Может, дивизия, какая тут оборону заняла, на подмену нам, до зимы будет в глухой обороне стоять, может, тут и боев никаких не будет, а так только — одна отсидка. И кто больше знает, майор или этот свистун Васька?

Все шло прахом! Все прежние расчеты и планы Лопахина были безжалостно опрокинуты неопровержимыми доводами старшины. Лопахин зачем-то снял каску и погладил ладонью ее накаленный солнцем верх. «Кругом прав чертов старик! Как же мой котелок этого

дела раньше не сварил? — удрученно думал он, глядя куда-то мимо старшины. — Очень даже просто, что пошлют нас на ответственный участок и что тут не будут фрицы напирать. Да так оно, наверное, и будет! Вон они режут куда-то мимо нас, на восток... Эх, маху дал я, а теперь отбой надо бить...»

— А вы, сынки, чего явились? — со зловещей вкрадчивостью спросил старшина, очевидно озаренный неприятной догадкой, и, словно петух перед дракой, вытянул вперед морщинистую шею, ожидая ответа.

У Некрасова от неожиданности отвисла нижняя челюсть, когда Лопахин, вытирая рукавом обильно проступивший на лбу пот, равнодушно ответил:

— Пришли узнать, когда выступать будем.

Старшина облегченно вздохнул. Не без труда расставаясь со своим прежним решением, тяжело вздохнул и Лопахин. А Некрасов со свистом втянул в себя воздух, зашептал:

— Чего воду мутишь? Говори ему сразу! Говори прямо, нас он на испуг не возьмет!

— Все сказано! — отрезал Лопахин и повернулся к старшине: — Командуй сбор, а то как бы твоя плотницкая артель не расползлась по швам...

* * *

Переход в пятнадцать километров сделали с одним небольшим привалом на полпути и к часам к шести вечера, едва стала спадать гнетущая жара, вступили в хутор, просторно раскинувшийся по заросшему вербами суходолу.

Отсюда до хутора Таловского, где находился штаб дивизии, было всего лишь около семи километров, но еще при входе в хутор старшина Поприщенко объявил, что ночевать будут здесь. Кто-то из бойцов недовольно проговорил:

— Рано становиться на ночевку! Перекурим, отдохнем малость и к заходу солнца притопаем в Таловский. Слышь, старшина?

Еще кто-то добавил:

— Целый день не жрали! Там хоть к комендантскому котлу подвалимся...

Поприщенко сердито фыркнул в серые от пыли усы, строго оглядел говоривших:

— А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! С голодными босяками я не могу являться к полковнику. Ясно? Станем на ночлег, и чтобы к ночи у меня все было чин по чину: рванье на обмундировании зашить, заштопать, у кого обувка в жалостном виде — привести в порядок, оружие — само собой, до зеркального состояния, а также помыться, щетину соскоблить, чтобы к утру были у меня, как стеклышки. Строго проверю. Ясно? А что касается подзаправиться — добуду в колхозе. Тут тоже не чужая держава, и чтобы по дворам у меня не шастаться, мы не нищие. Ясно? И полк свой я позорить не позволю, ясно и понятно!

Колхозного председателя застали в правлении колхоза. Старшина вошел в дом, бойцы присели в холодке, некоторые устало потянулись к колодцу. Прошло минут пятнадцать, а в доме все еще звучали голоса: рассудительный и словно бы упрашивающий — старшины и другой, тенористый, — как видно, председателя, все время на разные лады упрямо повторявший: «Не могу. Сказано, не могу. Не могу, товарищ старшина!»

— Что-то они никак не столкуются. Иди, Лопахин, старику на выручку, — посоветовал Копытовский.

Лопахин, давно и внимательно прислушивавшийся к доносившимся из дома обрывкам разговора, встал и решительно зашагал к крыльцу.

В небольшой комнатке, у окна с крест-накрест приклеенными к стеклу полосками газетной бумаги, сидел председатель колхоза — молодой рослый мужчина в старенькой армейской гимнастерке и сдвинутой на затылок, выгоревшей добела пилотке без звездочки. Правый порожний рукав гимнастерки был у него небрежно заткнут за пояс. Старшина поместился против него, почти вплотную придвинув табурет, касаясь своими коленями колен председателя, и, всячески стараясь придать своему хриплому баску как можно больше убедительности, говорил:

— Ты же бывший фронтовик, а в понятие не берешь наше положение, рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина...

Председатель недобро поблескивал узко посаженными серыми глазами и молча кривил губы. Его явно тяготил этот разговор. Лопахин поздоровался, присел на край скамьи.

— А в чем у вас дело? Об чем торгуетесь?

Не поворачивая в его сторону головы, председатель ответил:

— А в том, что старшина ваш просит выписать ему продуктов из колхозной кладовой, а я не могу этого сделать.

— Почему?

— Ха! Почему? Да потому, что в кладовой пусто. Ты думаешь, вы первые через хутор бежите?

— Мы не бежим, — сдержанно поправил его Лопахин, чувствуя, как закипает в нем злость к председателю, к его холодным, узко по-

саженным глазам, к самоуверенному тенористому голосу. «Забыл, как на фронте живут, отвоевался вчистую, отъелся, а теперь ему чужая нужда — не беда, теперь ему и ветер в спину», — думал он, с острой неприязнью глядя сбоку на крутую и красную председательскую шею, на тугие, чисто выбритые щеки.

— Вы не первые бежите и, видать, не последние, — упрямо повторял председатель.

— Повторяю, мы не бежим, — резко сказал Лопахин. — Это во-первых, а во-вторых, мы — последние. После нас никого нет.

— А нам от этого не легче! Какие раньше вас прочапали, — все подчистили, как веником подмели!

Председатель повернулся лицом к Лопахину, хотел что-то еще сказать, но Лопахин опередил его вопросом:

— Ты на фронте был?

— А руку мне телок отжевал, по-твоему?

— Отступать приходилось?

— Всяко было, но такого, как сейчас, не видывал.

— Пойми, дорогой человек, еловая голова, не могу же я свой народ голодным оставлять, — сказал старшина. — Я за каждого из них в ответе перед командованием. Ясно? Ты пиши накладную, а там что-нибудь найдется, нам много не надо.

Для вящей убедительности старшина положил руку на колено председателя, но тот отодвинул ногу, улыбнулся мирно и просто.

— Эх, старшинка, старшинка! Беда мне с тобой, старик! Ведь русским языком тебе говорю: ничего в кладовой, кроме мышей, нет, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай, я не девка, да и нога у меня на просьбы не чувствительная, она на протезе... Вот мое последнее слово: килограмма два пшена выдам — и все, а хлеба по дворам добудете.

— Куда же мне два килограмма на двадцать семь активных штыков, считай, на весь полк? А заправлять кашу чем? И по дворам за хлебом я солдат не пущу: мы не нищие. Ясно?

Лопахин взглянул на удрученное лицо старшины, с грохотом отодвинул скамью... Старшина предостерегающе поднял руку:

— Лопахин, не горячись!

— Пошли в кладовую, — коротко сказал председатель.

Твердо наступая скрипящим протезом на половицы, он направился к выходу. Поприщенко охотно последовал за ним. Замыкающим шел Лопахин.

Возле амбара председатель пропустил вперед старшину, взял Лопахина за локоть.

— Погляди сам, горячка, что у нас осталось. Черного амбара не имею и скрывать от вас ничего не хочу. Ребята вы, видать, боевые, славные, и я бы овцы, скажем, не пожалел вам на варево, но весь скот — и крупный и мелкий — отправили вчера в эвакуацию по распоряжению района. Осталось только то, что принадлежит личному пользованию колхозников. Свою бы овчишку отдал, но у меня в хозяйстве — только жена да кошка.

Лопахин молча помог отомкнуть большой висячий замок, шагнул в полутемный амбар. Только в одном небольшом закроме, в уголке, сиротливо кучились сметки пшена. Видя нерешительность Лопахина, старшина строго сказал:

— Действуй!

Перегнувшись, багровея от стыда и напряжения, Лопахин смел лежавшим на дне закрома гусиным крылом пшено на середину, выпрямился.

— Тут его килограмма три будет или около этого.

— Ну и забирайте все, нам его на развод не оставлять, — добродушно сказал председатель, не сводя с Лопахина подобревших, почти ласковых глаз.

Пока Лопахин горстями ссыпал пшено в вещевой мешок, старшина

достал из кармана просолившийся от пота тощий бумажник и, шевеля пыльными усами, стал отсчитывать замасленные рублевки.

— Сколько по твердой цене? — спросил он, исподлобья глядя на председателя.

Тот, смеясь, махнул рукой.

— Нисколько. За сметки не берем.

— А мы даром не берем. Ясно? — Старшина положил деньги на край закрома, чинно сказал: — Благодарствуем за уважение. — И пошел к выходу.

— Мыши твои деньги съедят, — все так же посмеиваясь, сказал председатель.

Старшина не ответил. За дверями он отозвал в сторону Лопахина, шепнул:

— Почин есть, а дальше что? В сказке солдат из топора кашу варил, так то — в сказке, а мы как будем, шахтер? Жидкая каша без заправки и хлеба — то же самое, что свадьба без жениха, а ребята голодные до смерти! Прямо безвыходное положение, — грустно заключил старшина.

Безвыходное положение? Нет безвыходных положений! Так, по крайней мере, всегда считал Лопахин, и, быть может, последняя фраза старшины и заставила его принять опрометчивое решение... Веселые огоньки зажглись в светлых бесстрашных глазах Лопахина. Черт возьми, как он раньше не подумал об этом, как мог он опустить руки, имея на руках такой козырь, как свой неизменный успех у женщин, свою неотразимость, в которую верил всем сердцем? Лопахин бодро похлопал приунывшего старшину по плечу, сказал:

— Главное, не робей, Поприщенко! Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. На сегодня многого не обещаю, буду знакомиться с обстановкой и вести разведку боем, а уж завтра утром накормлю вас всех — во! — И приложил ребро ладони к раздувшимся ноздрям.

— А что ты придумал? — осторожно осведомился старшина. — Может, какую беззаконную пакость?

— Все будет согласно закона, даю честное бронебойное слово, — заверил Лопахин и широко улыбнулся. — В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои, но уж поскольку они и до этого давно расшатанные, — готов пострадать ради товарищей:

— Ты говори толком и не морочь мне голову.

— А вот сейчас узнаешь. Товарищ председатель, на минутку!

Лопахин, доверительно касаясь пуговицы на гимнастерке председателя и в упор глядя в его узко посаженные глаза, заговорил:

— Парень ты свой, и я с тобой буду говорить начистоту: кормиться нам чем-нибудь надо, так? Ты помочь нам продуктами не можешь, так? Тогда помоги в другом деле.

— В каком?

— Есть в твоем колхозе вдова или солдатка, чтобы зажиточно жила, чтобы у нее в хозяйстве всякая чепуха была, ну, куры там, или овцы, или другая какая мелкая живность?

— Конечно, есть таковые. Колхоз наш не из бедных.

— Ну вот и становн нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. А там уже наше дело будет, как с ней столкуемся. Только, пожалуйста, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так, более или менее на женщину похожая, понимаешь?

Председатель насмешливо сощурил глаза, спросил:

— И не старше семидесяти лет?

Слишком серьезный вопрос обсуждался, чтобы Лопахин мог принимать всякие шуточки. Он задумчиво помолчал, потом ответил:

— Семьдесят — это, браток, многовато, это — цена с запросом, а на

шестьдесят, на худой конец, согласен, куда ни шло! Риск — благородное дело! Но желательно, конечно, помоложе...

— Что ж, это можно, — морща в улыбке губы, сказал председатель. — Это ты по-солдатски решаешь. На безрыбье, говорят, и рак рыба, а в поле — и жук мясо. Поставлю на квартиру, только, чур, на меня после не обижаться...

— А в чем дело? — настороженно спросил Лопахин.

— Недалеко отсюда живет одна солдатка. Лет ей под тридцать. Муж у нее на фронте, старший лейтенант. В хозяйстве у нее черта одного нет — и куры, и гуси, и утки, и двух больщеньких поросят держит, и овец десятка полтора имеет. Богато живет! И главное — одна, ни детей, никого нет. Да вон дом ее, видишь за тополями зеленую крышу? Это она самое там проживает. А муж ее до войны работал...

— Мне он по ночам не снится, ее муж, — нетерпеливо прервал Лопахин. — А в чем дело? За что можно обижаться-то? Возраст вполне подходящий!

— Строга она, парень, ох, до чего строга!

— Ну, это не страшно, не таких обламывали, веди, — самоуверенно сказал Лопахин и повернулся к старшине. — Разрешите действовать, товарищ старшина?

Поприщенко устало махнул рукой.

— Действуй. Только что-то мне сомнительно... Подведешь ты нас, Лопахин.

— Я? Подведу? — возмутился Лопахин.

— Очень даже просто подведешь. Служил я на действительной в старой армии, тоже молодой был, землю копытом рыл, не без греха жил. Ну, оторвешься, бывало, к знакомке, ну, яичницу и бутылку водки охлопочешь себе, а ведь тут двадцать семь человек... Вот я и думаю: как же это надо услужить бабе, чтобы она не на одного, а на двадцать семь душ харчей отпустила? Тут, шахтер, трудиться надо, я бы сказал...

— А я с трудами не посчитаюсь, — скромно уверил его Лопахин.

* * *

На западной окраине неба почти недвижно стояла белая, с розовым подбоем тучка. Вокруг неровных, зазубренных краев ее гулял вышний ветер, кучерявил лохматую окаемку. Выше тучи прошли на север четыре «мессершмитта». Они свалились вниз где-то за хутором, и спустя немного ветер донес частую дробь пулеметных очередей и глухие разрывы.

— Кого-то накололи на дороге. Кому-то сейчас скучно там... — сказал высокий длинношеий боец, промышлявший за Доном раков.

Лопахин только на секунду поднял голову, прислушиваясь к недалеким разрывам, и снова опустил ее, поплевывая на сапоги и тщательно надраивая их длинной лентой, отрезанной от полы немецкой шинели.

Бойцы разместились под навесом сарая. В грязных, пропотевших насквозь исподних рубахах они чинили изорванные в локтях, выгоревшие гимнастерки, штаны и шинели, мудрствовали над изношенными и худыми сапогами и ботинками. Кто-то добыл по соседству сапожный инструмент, пару стареньких колодок и дратву. Копытовский, оказавшийся неплохим сапожником, подбил подметки на своих сапогах и, недовольно поглядывая на сваленную в кучу возле него обувку товарищей, негодующе фыркнул: «Нашли сапожный комбинат! Нашли дурака на даровщину! Так я и буду вам молотком стучать до белой зари!» Он сидел на обрубке дерева в серых, расползшихся на нитки трусах и, широко расставив толстые ноги, яростно вколачивал в подошву

сапога, принадлежавшего Некрасову, ядреные березовые шпильки. Свернув ноги калачиком, рядом с ним сидел на земле Некрасов и, неумело орудуя изогнутой иглой-грошевухой, приваривал огромную латку на штанине Копытовского. Бугристым швом ложилась под его руками суровая нитка, и Копытовский, отрываясь от работы, критически говорил:

— У тебя, Некрасов, одна посадка портновская, а уменья ничего нету. Тебе, по-настоящему, только хомуты на ломовых лошадей вязать, а не благородные солдатские штаны чинить. Ну разве это работа? Насмешка над штанами, а не работа! Шов — в палец толщиной, любая вошь — если упадет с него — убьется насмерть. Пачкун ты, а не портной!

— Это твои-то штаны благородные? — отозвался Некрасов. — Их в руках держать — и то противно! А я чиню их, мучаюсь, вторую сумку от противогаза на них расходую, но конца моей работе не видно... На тебя штаны из листовой жести шить надо, тогда будет толк. Давай, Сашка, хлястик на трусы тебе пришью, а штаны сожжем, а?

Копытовский закатил глаза под лоб, придумывая ответ поязвительней, но в это время кто-то громко сказал:

— Братва, хозяйка идет!

Все разом смолкли. Двадцать шесть пар глаз устремились к калитке, только Стрельцов, тихонько насвистывая, тщательно смазывал разобранный затвор автомата, не поднимал опущенной головы.

Неправдоподобно высокого роста, огромная, дородная женщина величаво подходила к калитке. Она была по-своему статна и хороша лицом, но по меньшей мере на голову выше самого высокого из бойцов. В наступившей тишине кто-то изумленно ахнул:

— Ну, вот это — да!

А старшина, испуганно выпучив опухшие глазки, толкнул Лопахина в бок:

— Вот и радуйся теперь... Скушали нежданку!

Лопахин сразу на четыре дырки

затянул скрипнувший ремень, торопливо оправил складки гимнастерки, снял каску и ладонью пригладил волосы. Весь подобравшись, как боевой конь при звуках трубы, он зачарованными, светящимися глазами провожал широко шагавшую по двору мощную женщину...

Старшина отчаянно махнул рукою, сказал:

— Все пропало! Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не вчиняет, собачий сын!..

Лопахин обратил к нему рассеянный взгляд, недовольно спросил:

— Ты чего паникуешь?

— Как же это — чего? — возмутился старшина. — Ты видишь, кто идет?

— Вижу. Типичная женщина. В юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина! — восторженно сказал Лопахин.

— Типичная! Прелесть в юбке! — яростным шепотом передразнил старшина. — Не женщина, а памятник идет. Ясно? На нее смотреть и то страшно! До войны в Москве на сельхозвыставке видал я такую. Стоит при входе каменная баба на манер памятника, вот и эта ничуть не меньше... Сотворит же господь бог такое неподобие, тьфу! — Старшина, отплевываясь и чертыхаясь, потащил Лопахина в угол сарая, шепотом спросил: — Ну, что будем делать теперь? Квартиру менять?

Лопахин снисходительно улыбнулся и пожал плечами:

— О чем речь? И с какой стати менять? То же самое и будем делать, о чем с тобой договаривались. Задача остается прежняя.

— Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько! Ведь ты ей головой до плеча не достанешь!

— Ну и что?

— А то, что мелковатый твой рост по ней. Ясно?

Глядя на растерянное и даже немного испуганное лицо старшины, Лопахин улыбался уже с нескрываемым презрением:

— До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина...

— Чего же это я не знаю, дозволь спросить?

— А того, что мелкая блоха злее кусает, понятно тебе?

Старшина, несколько поколебленный в своих сомнениях, не без скрытого уважения молча и пристально смотрел на Лопахина, дивясь про себя его бесшабашной самоуверенности. А Лопахин, щуря в улыбке светлые глаза, говорил:

— Ты древнюю историю когда-нибудь изучал, старшина?

— Не приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была вроде бы и ни к чему. А что?

— Жил в старину такой полководец Александр Македонский, так вот у него, как потом и у римского полководца Юлия Цезаря, лозунг был: «Пришел. Увидел. Победил». Я придерживаюсь этого лозунга, и рост этой гражданки меня ничуть не пугает! Разрешите действовать, товарищ старшина?

— Оно, конечно, действуй, я не возражаю, по случаю безвыходного положения. Но одно скажу тебе, шахтер: не помрешь ты своей смертью...

Старшина сокрушенно покачал головой, но Лопахин только игриво подмигнул и положил тяжелую руку на старчески сухое плечо старшины:

— Все будет в порядочке. Ни тебя, ни себя я не подведу, старшина! Будь спокоен!

* * *

Лопахин прилагал героические усилия, чтобы снискать расположе-

ние хозяйки: он вызвался помочь ей в поливке огорода и даже с полными ведрами не шел от колодца, как полагается степенному мужчине, а семенил дробной веселой рысцой впереди медлительно шагавшей женщины; дрова рубил так, что из-под топора янтарными брызгами во все стороны летели сухие ольховые щепки; ни минуты не колеблясь, снял начищенные до блеска сапоги, до колен подсучил штаны и рьяно принялся за чистку летнего коровьего база, по щиколотку увязая в закрутевшем навозе...

Хозяйка охотно принимала все эти услуги, поглядывая на суетившегося Лопахина с веселой хитринкой, улыбаясь одними серыми глазами и лишь изредка отворачиваясь и с тяжеловесной грацией поправляя на голове белый платочек. Но если бы только видел Лопахин в это время ее откровенную и всезнающую улыбку!..

Бойцы по-прежнему сидели под навесом сарая, вполголоса переговаривались. Каждый из них был занят своим делом, однако ни единое движение Лопахина и хозяйки не ускользало от их неусыпного внимания. Но зорче всех наблюдал за Лопахиным старшина. Он примостился на сиденье поломанной косилки, стоявшей возле сарая, и озирал двор, подобно военачальнику, следящему за исходом сражения на поле боя. Пулеметчик Василий Хмыз, подмигивая бойцам, насмешливо сказал:

— А у вас, товарищ старшина, НП подходящий, прямо как у генерала. Обзорец с него хоть куда!

Старшина раздраженно буркнул:

— Молчи, щеня! Человек для нашей же общей пользы старается, а ты гавкаешь.

Старшина по-прежнему недоверчиво относился к предприятию Лопахина, но когда хозяйка низким, грудным голосом ласково окликнула расторопного бронебойщика, старшина просиял:

— Вот ведь вражий сын! Вот злодий по бабьей линии! Она его уже по имени-отчеству величает! И когда успела узнать? Слыхали, Петром Федотычем назвала! Ну и шахтер! Этот не пропадет и в сиротах не засидится.

— Клюет! — довольно проговорил Некрасов, кивая на хозяйку и слегка подталкивая старшину в бок.

— Ясно, что наклевывается! А почему бы, спрошу я тебя, и не клевало? Парень он геройский, а рост, что же рост... На пару этой бабе надо парня прогонистого, длиной с мостовую сваю, либо двух хороших ребят надо гвоздями сколачивать, чтобы верхний ростом до нее дотянулся. Но Лопахин не этим берет, собачий сын! Недаром говорят, что мал клоп, да вонюч. Геройством берет, как все равно этот полководец... — Старшина, жуя губами, всмотрелся в лицо Некрасова и вдруг неожиданно спросил: — Ты древнюю историю изучал когда-нибудь?

— У меня низкое образование, — со вздохом сожаления сказал Некрасов. — Я и приходскую школу не окончил через этот проклятый царизм и по бедности моих родителей. Древних историй я не знаю, не приходилось с ними сталкиваться. Чего не знаю, того не знаю, хвалиться не буду.

— Напрасно не учил, напрасно! — укоризненно проговорил старшина и с видом собственного превосходства закрутил ус. — Мне разные науки с детства тоже нелегко давались. Изучаешь, бывало, какую-нибудь там древнюю или не особенно древнюю историю или, скажем, такую вредную науку, вроде географии, так не поверишь, — иной раз даже ум за разум зайдет! А все-таки одолеваешь их, и сам по себе становишься все обра-

зованнее, все образованнее. Ясно?

— Конечно, ясно, — уныло подтвердил Некрасов, подавленный образованностью старшины, которую раньше, за боевым недосугом, как-то не замечал.

— Вот, к примеру, был в старину такой знаменитейший полководец: Александр... Александр... Э, чертова память! Сразу и не припомнишь его фамилии... Стариковская память — как худая рукавица... Александр...

— Суворов? — несмело подсказал Некрасов.

— Никакой не Суворов, а Александр Македонсков, вот какая его фамилия! Насилу вспомнил, хай ему сто чертей! Это еще до Суворова было, при царе Горохе, когда людей было трохи. Так вот этот Александр воевал так: раз, два — и в дамках! И первая заповедь насчет противника у него была такая: «Пришел. Увидел. Наследил». А наследит, собачий сын, бывало, так, что противник после этого сто лет чихает, никак не опомнится. И кого он только не бил! И немцев, и французов, и шведов, не говоря уже про разных итальянцев. Только в России напоролся и показал тыл, повернул обратно. Не по зубам пришлась ему Россия!

— А какой же он нации был? — поинтересовался Некрасов.

— Он-то? Александр этот? — Неожиданный вопрос застал старшину врасплох. Он долго теребил ус, мучительно морщил лоб, бормотал: — Э, память собачья! У старого человека она, как у старого кобеля: того Серком зовут, а он и хвостом не виляет, позабыл свое прозвище... — Старшина в задумчивости помолчал немного, потом решительно сказал: — У него своя нация была.

— Как же это — своя? — удивился Некрасов.

— А так, своя, и все тут. Собственная нация, и шабаш. Ясно? Так в древней истории прописано. Была у него своя нация, а потом вся перевелась, и на развод ничего не осталось. Ну, да это неважно. А вспомнили мы с Лопахиным про этого Александра по такому случаю: я ему говорю, смотри, мол, не обожгись, Лопахин, с этой хозяюшкой, не подведи нас насчет харчей, а он смеется, вражий сын, и говорит: «У меня такая привычка, как у Александра Македонского: пришел, увидел, наследил». Ну, говорю ему, дай боже, чтоб наше теля та вовка зъило, действуй, но уж если будешь следить, то следи так, чтобы хозяюшка на овечку разорилась, не меньше! Обещал выполнить. И, как видно, дело у него идет на лад. Слышал, как она к нему обратилась: «Петр Федотыч, подайте мне ведра»? Во-первых, по имени-отчеству, во-вторых — на букву вы, а это что-нибудь означает, ясно?

— Конечно, ясно, — охотно подтвердил Некрасов. — А неплохо бы было щец с молодой баранинкой рубануть... Хороши овечки у хозяйки, особенно одна ярка справная. Там курдюк у нее — килограмма на четыре, не меньше! Ежели раздобрится хозяйка на овцу, надо только эту ярку резать. Я ее облюбовал, еще когда овцы с попаса пришли.

— Борщ из баранины хорош с молодой капустой, — задумчиво сказал старшина.

— Капуста молодая, а картошка должна быть в борще старая, — с живостью отозвался Некрасов. — В молодой картошке толку нет, на варево она не годится.

— Можно и старой положить, — согласился старшина. — А еще неплохо поджаренного лучку туда кинуть, этак самую малость...

Незаметно подошедший к ним Василий Хмыз тихо сказал:

— До войны мама всегда на базаре покупала баранину непременно с почками. Для борща это замеча-

тельный кусок! И еще укропу надо немного. От него такой аромат — на весь дом!

— Укроп — баловство одно. Главное, чтобы капуста свежая была и помидорки. Вот в чем вся загвоздка! — решительно возразил старшина.

— Морква тоже невредная штука для борща, — мечтательно проговорил Некрасов.

Старшина хотел что-то сказать, но вдруг сплюнул клейкую слюну, злобно проворчал:

— А ну, кончай базар! Давай, дочищай оружие, сейчас проверять буду по всей строгости. Затеют дурацкие разговорчики, а ты их слушай тут, выворачивай живот наизнанку...

* * *

Большинство бойцов расположилось спать на дворе, возле сарая. Хозяйка постелила себе на кухне, а в горнице, отделявшейся от кухни легкими сенями, легли на полу старшина, Стрельцов, Лопахин, Хмыз, Копытовский и еще четверо бойцов.

Хмыз и длинношеий боец, за которым прочно утвердилась кличка «раколов», долго о чем-то шептались. Копытовский на ощупь ловил блох, вполголоса ругался. Лопахин выкурил две папироски подряд и притих. Спустя немного его шепотом окликнул старшина:

— Лопахин, не спишь?

— Нет.

— Смотри не усни!

— Не беспокойся.

— Тебе бы для храбрости сейчас грамм двести водки, да где ее, у чертова батьки, достанешь?

Лопахин тихо засмеялся в темноте, сказал:

— Обойдусь и без этого зелья.

Слышно было, как он с хрустом потянулся и встал.

— Пошел, что ли? — шепотом спросил старшина.

— Ну, а чего же время терять? — не сдерживая голоса, ответил Лопахин.

— Удачи тебе! — проникновенно сказал раколов.

Лопахин промолчал. Ступая на цыпочках, он ощупью шел в кромешной тьме, направляясь к двери, ведущей в сени.

— В доме спят самые голодные, остальные — во дворе, — вполголоса сказал Хмыз и по-мальчишески пырскнул, закрывая рукою рот.

— Ты чего? — удивленно спросил Копытовский.

— Но пасаран! Они не пройдут! — дрожащим от смеха голосом проговорил Хмыз.

И тотчас же отозвался ему Акимов — снайпер третьего батальона, — желчный и раздражительный человек, до войны работавший бухгалтером на крупном строительстве в Сибири:

— Я попрошу вас, товарищ Хмыз, осторожнее обращаться со словами, которые дороги человечеству. Интеллигентный молодой человек, насколько мне известно, окончивший десятилетку, а усваиваете довольно дурную манеру — легко относиться к слову...

— Он не пройдет! — задыхаясь от смеха, снова повторил Хмыз.

— И чего ты каркаешь, губошлеп? — возмущенно сказал раколов. — Не пройдет, не пройдет, а он потихоньку продвигается. Слышь, половица скрипнула, а ты — «не пройдет». Как это не пройдет? Очень даже просто пройдет!

Копытовский предупреждающе сказал:

— Тише! Тут главное — тишина и храп.

— Ну, храпу тут хватает...

— Тут главное — маскировка и тишина. Если и не спишь от голоду, то делай вид, что спишь.

— Какая тут маскировка, когда

в животе так бурчит, что, наверное, на улице слышно, — грустно сказал раколов. — Вот живоглоты, вот куркули проклятые! Бойца — и не покормить, это как? Да, бывало, в Смоленской области — там тебе последнюю картошку баба отдаст, а у этих снега среди зимы не выпросишь! У них и колхоз-то, наверное, из одних бывших кулаков... Продвигается он или нет? Что-то не слышно.

— Выдвинулся на исходные позиции, но все равно он не пройдет! — со смешком зашептал Хмыз.

— Вас, молодой человек, окончательно испортила фронтовая обстановка. Вы неисправимы, как я вижу, — возмущенно сказал Акимов.

— А ну, кончай разговоры! — сипло зашептал старшина.

— И чего он шипит, как гусак на собаку? Дело его стариковское, лежал бы себе да посапливал в две отвертки... Не старшина у нас, а зверь на привязи...

— Я тебе завтра покажу зверя! Ты думаешь, я тебя по голосу не узнал, Некрасов? Как ты голос ни меняй, а я тебя все равно узнаю!

Минуту в горнице держалась тишина, нарушаемая разноголосым храпом, потом раколов с нескрываемой досадою проговорил:

— Не продвигается! И чего он топчется на исходных? О, зараза! Он пока выйдет на линию огня, — всю душу из нас вымотает! О господи, послали же такого торопыгу. К утру он, может, и доползет до сеней...

Еще немного помолчали, и снова раколов, уже с отчаянием в голосе, сказал:

— Нет, не продвигается! Залег, что ли? И чего бы он залег? Колючую проволоку она протянула перед кухней, что ли?

Окончательно выведенный из терпения, старшина приподнялся:

— Вы замолчите нынче, вражьи сыны?

— О господи, тут и так лежишь, как под немецкой ракетой... — чуть слышно прошептал раколов и умолк: широченная ладонь Копытовского зажала ему рот.

В томительном ожидании прошло еще несколько долгих минут, а затем на кухне зазвучал возмущенный голос хозяйки, послышалась короткая возня, что-то грохнуло, со звоном разлетелись по полу осколки какой-то разбитой посудины, и хлестко ударилась о стену дверь, ударилась так, что со стен, шурша, посыпалась штукатурка и, жалобно звякнув, остановились суетливо тикавшие над сундуком ходики.

Спиною отворив дверь, Лопахин ввалился в горницу, пятясь, сделал несколько быстрых и неверных шагов и еле удержался на ногах, кое-как остановившись посредине горницы...

Старшина с юношескою проворностью вскочил, зажег керосиновую лампу, приподнял ее над головой. Лопахин стоял, широко расставив ноги. Иссиня-черная, лоснящаяся опухоль затягивала его правый глаз, но левый блестел ликующе и ярко. Все лежавшие на полу бойцы привстали, как по команде. Сидя на разостланных шинелях, они молча смотрели на Лопахина и ни о чем не спрашивали. Да, собственно, и спрашивать-то было не о чем: запухший глаз и вздувшаяся на лбу шишка, величиною с куриное яйцо, говорили красноречивее всяких слов...

— Александр Македонсков! Мелкая блоха! Ну, как, скушал нежданку? — уничтожающе процедил сквозь зубы бледный от злости старшина.

Лопахин помял в пальцах все увеличивавшуюся в размерах шишку над правой бровью, беспечно махнул рукой:

— Непредвиденная осечка! Но зато, братцы, до чего же сильна эта

женщина! Не женщина, а просто прелесть! Таких я еще не видывал. Боксер первого класса, борец высшей категории! Слава богу, я на обушке воспитывался, силенка в руках есть, мешок в центнер весом с земли подыму и унесу, куда хочешь, а она схватила меня за ногу повыше колена и за плечо, приподняла и говорит: «Иди, спи, Петр Федотович, а то в окно выброшу!» — «Ну, это, — говорю ей, — мы еще посмотрим». Ну, и посмотрел... Проявил излишнюю активность, и вот вам, пожалуйста...— Лопахин, морщась от боли, снова помял угловатую, лиловую шишку над бровью, сказал: — Да ведь это удачно так случилось, что я спиною о дверь ударился, а то ведь мог весь дверной косяк на плечах вынести. Ну, вы как хотите, а я — если живой останусь — после войны приеду в этот хутор и у лейтенантика эту женщину отобью! Это же — находка, а не женщина!

— А как же теперь овца? — удрученным голосом спросил Некрасов.

Взрыв такого оглушительного хохота был ему ответом, что Стрельцов испуганно вскочил и спросонок потянулся к лежавшему в изголовье автомату.

— А находка твоя завтра кормить нас будет? — сдерживая бешенство, спросил старшина.

Лопахин жадно пил теплую воду из фляжки и, когда опорожнил ее,— спокойно ответил:

— Сомневаюсь.

— Так чего же ты трепался и головы нам морочил?

— А что ты от меня хочешь, товарищ старшина? Чтобы я еще раз сходил к хозяйке? Предпочитаю иметь дело с немецкими танками. А уж если тебе так не терпится — иди сам. Я заработал одну шишку, а тебе она насажает их дюжину, будь спокоен! Что ж, может, проводить тебя до кухни?

Старшина плюнул, вполголоса выругался и стал натягивать гимнастерку. Одевшись и ни к кому не обращаясь, он угрюмо буркнул:

— Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Не могу же я являться по начальству й сразу просить: покормите нас, бойцов. Вы тут поспокойнее, я скоро обернусь.

А Лопахин лег на свое место, закинул руки за голову, с чувством исполненного долга сказал:

— Ну, теперь можно и спать. Атака моя отбита. Отступил я в порядке, но понеся некоторый урон, и, ввиду явного превосходства сил противника, наступления на этом участке не возобновляю. Знаю, что смеяться надо мной вы будете, ребята, теперь месяца два — кто проживет эти два месяца, — об одном прошу: начинайте с завтрашнего утра, а сейчас — спать!

Не дожидаясь ответа, Лопахин повернулся на бок и через несколько минут уже спал крепким, по-детски беспробудным сном.

* * *

Рано утром Копытовский разбудил Лопахина:

— Вставай завтракать, мелкая блоха!

— Какая же он — блоха? Он — Александр Македонский, — сказал Акимов, чистой тряпицей тщательно вытирая алюминиевую ложку.

— Он — покоритель народов и гроза женщин, — добавил Хмыз.— Но вчера он не прошел, хотя я его об этом и предупреждал.

— На такого покорителя понадейся, с голоду подохнешь! — сказал Некрасов.

Лопахин открыл глаза, приподнялся. Левый глаз его смотрел, как всегда, бойко и весело, пра-

вый, окаймленный синеватой припухлостью, еле виднелся, посверкивая из узко прорезанной щели.

— Ну и приголубила она тебя! — Копытовский фыркнул и отвернулся, боясь рассмеяться.

Лопахин отлично знал, что единственным спасением от насмешек товарищей послужит только молчание. Насвистывая, с видом абсолютно равнодушным, он достал из вещевого мешка полотенце и крохотный обмылок, вышел на крыльцо. Бойцы, умываясь, толпились возле колодца, а в примыкавшем к дому садике на траве были разостланы плащ-палатки, и на них густо стояли котелки, тарелки, миски. Неподалеку жарко горел костер. На железном пруте над огнем висел большой бригадный котел. Нарядная хозяйка поправляла огонь, склоняясь могучим станом, помешивала в котле деревянной ложкой.

Все это было как во сне. Лопахин ошалело поморгал, протер глаза. «Явная чертовщина!» — подумал он, но тут ноздри его уловили запах мясной похлебки, и Лопахин, пожав плечами, сошел с крыльца. Остановившись у костра, он галантно раскланялся:

— Доброе утро, Наталья Степановна!

Хозяйка выпрямилась, метнула быстрый взгляд и снова наклонилась над котлом. Розовая краска заливала ее щеки, и даже на полной белой шее проступили красные пятна.

— Здравствуйте, — тихо сказала она. — Уж вы меня извиняйте, Петр Федотович... Синяк-то у вас нехороший... Небось товарищи слыхали ночью?

— Это пустое, — великодушно сказал Лопахин. — Синяки украшают лицо мужчины. Надо бы вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками орудовать, но теперь уже ничего не поделаешь. А за меня не беспокойтесь, заживет, как на миленьком. Собака пойдет — кость найдет, вот и я к вам ночушкой сходил — синяк с шишкой нашел. Наше дело, Наталья Степановна, жениховское...

Хозяйка снова выпрямилась, посмотрела на Лопахина ясным взглядом, сурово сдвинула густые, рыжеватые брови.

— В том-то и беда, что в женихах ходите. Вы думаете, если муж в армии, так жена у него подлюка? Вот и пришлось, Петр Федотович, кулаками доказывать, какие мы есть, благо силушкой меня бог не обидел...

Лопахин опасливо скосил зрячий глаз на сжатые кулаки хозяйки, спросил:

— Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все-таки скажите: каков ваш муженек? Ну, какого он роста из себя?

Хозяйка смерила Лопахина взглядом, улыбнулась:

— А такого же, как вы, Петр Федотович, немного только потупистее.

— Наверное, обижали вы его? В зятьях он у вас жил?

— Что вы! Что вы, Петр Федотович! Мы с ним жили душа в душу.

Пухлые, румяные губы женщины дрогнули. Она отвернулась и кончиком платка смахнула со щеки слезинку, но тотчас же лукаво улыбнулась и, глядя на Лопахина увлажненными глазами, сказала:

— Лучше моего на белом свете нету! Он у меня — хороший человек, работящий, смирный, а как только нахлебается — лихой становится. Но я к участковому милиционеру жаловаться не хаживала: начнет буянить — и я скоро с ним управлялась; больно не бивала, а так, любя... Сейчас он в Куйбышеве, в госпитале после ранения лежит. Может, после на поправку домой пустят?

— Обязательно пустят, — уве-

рил Лопахин. — А по какому случаю, Наталья Степановна, у вас затевается завтрак на всю нашу бражку? Что-то я не пойму...

— Тут и понимать нечего. Если бы вы вчера толком объяснили нашему председателю, что эта ваша часть позавчера билась с немцами на хуторе Подъемском, — вас еще вчера накормили бы. А то ведь мы, бабы, думаем, что вы опрометью бежите, не хотите нас отстаивать от врага, ну сообща и порешили про себя так: какие от Дона в тыл, — ни куска хлеба, ни кружки молока не давать им, пущай с голоду подыхают, проклятые бегунцы! А какие к Дону идут, на защиту нашу, — кормить всем, что ни спросят. Так и делали. А про вас мы не знали, что это вы на Подъемском бились. Позавчера колхозницы нашего колхоза подвозили снаряды к Дону, вернулись оттуда и рассказывали: «Наших родненьких, — говорят, — много побито было на той стороне Дона, но и немцев на бугре наклали, лежат, как дрова в поленнице». Знатье, что это вы там бой принимали, подругому бы и встретили вас. Старший ваш, рыженький, седенький такой старичок, ночью к председателю ходил, рассказал ему, как вы жестоко сражались. Ну, гляжу — на рассвете председатель чуть не рысью к моему двору поспешает. «Промашка, — говорит, — вышла, Наталья. Это — не бегунцы, — говорит, — а герои. Режь сейчас же курей, вари им лапшу, чтобы эти ребята были накормлены досыта». Рассказал мне, как вы оборонялись на Подъемском, сколько потерей понесли, и я сейчас же лапшу замесила, восемь штук курей зарубила и — в котел их. Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили! И то сказать, до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться... Вы не обижайтесь за черствое слово, но срамотно на вас глядеть...

— Выходит так, что не тот ключик к вашему замку мы подбирали? — спросил Лопахин.

— Выходит, что так, — улыбнулась хозяйка.

Лопахин крякнул от досады, махнул рукой и пошел к колодцу. «Что-то не везет мне на любовь последнее время», — с грустью вынужден был признать он, шагая по тропинке.

* * *

Командир дивизии полковник Марченко, раненный под Серафимовичем в предплечье и голову, в это утро, после перевязки, выпил стакан крепкого чаю, прилег отдохнуть. От потери крови и бессонных ночей все эти дни после ранения он чувствовал непроходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье, — в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба майор Головков.

— Ты не спишь, Василий Семенович? — спросил он.

— Нет, а что ты хотел?

Преждевременно полнеющий, бочковатый и низкорослый Головков быстрыми шагами подошел к окну, снял пенсне и, протирая его носовым платком, стоя спиной к Марченко, сказал дрогнувшим голосом:

— Прибыл тридцать восьмой...

— А-а-а... — Марченко резко приподнялся на койке и со скрежетом стиснул зубы: острая боль в височной кости чуть не опрокинула его навзничь.

Он снова прилег, собрал все силы, спросил чужим и далеким голосом:

— Как же?..

И откуда-то издалека дошел до его слуха знакомый голос Головкова:

— Двадцать семь бойцов. Из них пятеро легко раненных. Привел старшина Поприщенко. Большинство — из второго батальона. Материальная часть — ты знаешь... Знамя полка сохранено. Люди ждут в строю. — И совсем близко, над ухом: — Вася, ты не вставай. Приму я. Не вставай же, чудак, тебе худо! Ты белый, как стенка. Ну, разве можно так?!

Несколько минут Марченко сидел на койке, тихо покачиваясь, положив смуглую руку на забинтованную голову. На правом виске его густо высыпали мелкие росинки пота. Последним усилием воли он поднял свое большое костистое тело, твердо сказал:

— Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны восемь лет... Я сам к ним выйду.

— Не упадешь, как вчера?

— Нет, — сухо ответил Марченко.

— Может быть, поддержать тебя под локоть?

— Нет. Пойди, скажи — рапорта не надо. Знамя расчехлить.

С крыльца Марченко сходил, медленно и осторожно ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила, и когда грузно ступил на землю, — в строю глухо и согласно щелкнули двадцать семь пар стоптанных солдатских каблуков.

Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю подошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина Поприщенко молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника.

Остановившись, он оглядел лица бойцов одним незабинтованным и сверкавшим, как кусок антрацита, черным глазом, неожиданно звучным голосом сказал:

— Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка — знамя. — Полковник волновался и не мог скрыть волнения: правую щеку его подергивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил снова: — С этим знаменем в 1919 году на Южном фронте сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя видел на Сиваше товарищ Фрунзе. Развернутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Буденный...

Полковник поднял над головой сжатую в кулак смуглую руку. Голос его, исполненный страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натянутая струна:

— Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами!.. Вы принесете ваше знамя в Германию! И горе будет проклятой стране, породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамена нашей... нашей великой Армии-Освободительницы!.. Спасибо вам, солдаты!

Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшем над древком тяжелыми, литыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, преклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело оперся пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни...

Сжав челюсти, Лопахин стоял не шевелясь, и лишь тогда, когда углы

шал справа от себя глухой, задавленный всхлип, — слегка повернул голову: у старшины, у боевого служаки Поприщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие, светлые слезы. Но, покорный воле устава, он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову...

1942—1949—1969

Р2
Ш78

Шолохов М. А.

Ш78 Они сражались за Родину: Главы из романа./Худож. В. Гальдяев.— М.: Современник, 1985.— 77 с; ил.; портр.— («Отрочество». Серия книг для подростков).

Главы из романа «Они сражались за Родину» посвящаются героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Ш $\frac{4803010102-097}{М106(03)-85}$ Без объявл.

ББК84Р7
Р2

Михаил Александрович
Шолохов

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы из романа

ВЫПУСК II

Редактор
О. ГОЛЕВА
Художник
В. ГАЛЬДЯЕВ
Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ
Технический редактор
В. ЮРЧЕНКО
Корректор
Т. СТЕЛЬМАХ

ИБ № 4347. Подписано к печати с диапозитивов 04.02.85. Формат 70×100/16. Гарнитура об. нов. Печать офсет. Бумага офсет. кн.-журн. № 2. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 13,49. Уч.-изд. л. 6,66. Тираж 500 000 экз.
Заказ № 216. Цена 20 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Издательство «Современник»